

The background of the entire cover is an oil painting. It depicts a river or stream with turbulent, swirling water in shades of brown, ochre, and blue. In the foreground, a cluster of white flowers with yellow centers and thin, light-colored stems grows from the water. The top of the image shows dark, rocky banks. A white rectangular label with a dark border is positioned in the upper center, containing the author's name and the title.

ТУВЕ  
**ЯНССОН**

*Умеющая  
слушать*

АЗБУКА-КЛАССИКА

# Туде Марика Янссон

## Умеющая слушать

### Серия «Азбука-классика»

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=42702846](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42702846)*

*Умеющая слушать : повести, рассказы / Туде Янссон: Азбука, Азбука-Аттикус; Санкт-Петербург; 2019  
ISBN 978-5-389-17732-1*

### **Аннотация**

Создательницу муми-троллей Туде Янссон по праву можно назвать одной из самых загадочных писательниц прошлого столетия. Лаконично и честно рассказывая о повседневном, Янссон словно составляла инструкцию своей жизни, не забывая наполнять произведения автобиографическими деталями. Она росла в творческой семье: ее мать была иллюстратором, а отец – скульптором. Сама Туде начала рисовать в пятнадцать лет и мечтала стать художником, а не писателем. Ей удалось и то и другое.

В книгу вошли повести «Честный обман» (1982) и «Каменное поле» (1984), а также сборник рассказов и миниатюр «Умеющая слушать» (1971).

# Содержание

Умеющая слушать	4
Умеющая слушать	4
Разгружать песок...	20
День рождения	25
Спящий	33
Черное на белом	42
Письмо идолу	54
Любовная история	65
Другой	74
По весне	83
Тихая комната	87
Буря	92
Серый шелк	98
Проект предисловия	104
Волк	107
Конец ознакомительного фрагмента.	109

# **Туве Янссон**

## **Умеющая слушать**

### **(сборник)**

## **Умеющая слушать**

### **(рассказы)**

*Посвящается моему брату Перу Улофу Янссону*

## **Умеющая слушать**

Когда это началось, тетушке Герде было пятьдесят лет, и первым предупреждением о том, что она изменилась, стали ее письма. Они сделались безликими.

Она была тихой, состоятельной женщиной с обыкновенной внешностью, ничто в ней не привлекало особого внимания, не приводило в волнение или в восторг, но никому и не мешало. Писала она хорошо. Не блестяще, конечно, не затейливо, но каждое слово из того, о чем сообщала в своих письмах тетушка Герда, было тщательно обдуманно и не содержало хлопотливых советов. Все привыкли, что на письма она отвечала немедленно, быть может, не всегда усерд-

но, но серьезно и заинтересованно. Ее письма часто кончались пожеланием плодотворной работы осенью или приятных весенних дней. Такие широкие временные рамки, казалось, оставляли адресату полную свободу несколько задержаться со следующим письмом.

Читать ответные письма тетушки Герды было все равно что еще раз наиувлекательнейшим образом переживать свои собственные чувства и впечатления, но уже словно бы разыгранные на большой сцене, где хор плакальщиц внимательно следит за происходящим и комментирует его. И одновременно читать со спокойной уверенностью в том, что тетушка всегда остается достойной того доверия, которым ее столь часто вознаграждали.

Теперь же, с некоторых пор, тетушка Герда неделями и месяцами медлила с ответом, и, когда наконец отвечала, письма ее были исковерканы недостойными извинениями, стиль их стал высокопарен и изобилдовал длиннотами; и писала она уже только на одной стороне бумаги. А подробные комментарии, некогда содержавшие искреннее сочувствие адресату, утратили свою теплоту.

Когда человек теряет то, что можно назвать его изюминкой, выражением самых прекрасных его качеств, подобное состояние вдруг обостряется, а затем с пугающей быстротой овладевает всей его личностью. Именно это и случилось с тетушкой Гердой. Очень скоро она позабыла все дни рождения. А также имена, лица и обещания. Она, которая обычно

сидела в ожидании на ступеньках своей лестницы и тем не менее всегда приходила первой, начала опаздывать. Ее врученные не вовремя подарки были слишком дорогими, громоздкими, безликими и сопровождались мучительными извинениями. Никогда больше не приносила она с любовью приготовленные подарки, которые сама же и мастерила. Никогда больше не посылала красивые и трогательные рождественские открытки вместе с засушенными цветами, ангелами, а иногда – блестками; теперь она покупала дорогие глянцевые открытки с уже напечатанными пожеланиями радости и счастья.

Эти весточки от тетушки Герды горестно свидетельствовали о том, как она изменилась, а также об ужасном, удручающем недостатке внимания с ее стороны.

Ведь в душе своей люди всегда носят образы тех, кого любят, они живут в их сердце, и мир полон разных возможностей выказать им свою нежность, это не оценить деньгами, но это приносит столько радости. Все ее сестры, и братья, и внучатые племянники, и друзья думали про себя, что Герда изменила своим правилам, утратила чувство ответственности и что, живя лишь ради самой себя, стала эгоистична. А может, это просто беспомощная забывчивость, которую приносят с собой годы? Но в глубине души все знали, что изменения эти гораздо серьезнее, они необъяснимы и необратимы и связаны с таинственной сферой мозга, формирующей сущность человека и его достоинство.

Тетушка Герда знала: с ней что-то произошло, но она не понимала, что именно. Ее вынужденные поступки и взаимоотношения с близкими людьми, взаимоотношения, что стали всего лишь добровольным желанием приспособиться к обстоятельствам и уступкой с ее стороны, требовали неимоверных усилий от нее. Тетушка Герда мучилась, постоянно упрекая в чем-то себя. А самым трудным становилось, пожалуй, время, удары часов – необходимость следить за временем.

Ее дни, прерывавшиеся или зачастую кончавшиеся приглашением в гости, обретали собственное времяисчисление, они были нескончаемы и внушали ей страх уже с самого утра. Можно сказать, эти дни как-то странно делились пополам. Сначала, охваченная чувством откровенного ожидания, тетушка Герда приводила в порядок те вещи, которые хотела взять с собой, когда уйдет из дому. Потом в душе ее появлялась страшная неуверенность, касавшаяся имен, лиц и произносимых ею слов. Исчезало и ощущение взаимосвязи между отдельными людьми, и ощущение полноты чувств по отношению к тем, кого любишь. А хуже всего – то, что существовало враждебное ей время. Время, что неуклонно приближается – секунда за секундой, – и в одну из этих секунд кто-то уже ждет тебя у дверей... Секунды не хватит даже на вдох или выдох, а все, что потребует большего отрезка времени, может случиться, когда уже слишком поздно, увы, уже слишком и слишком поздно. Когда назначенное время ухо-

да приближалось, беспокойство тетушки Герды становилось нестерпимым. Она совершала странные ошибки: неправильно определяла время на часах, начинала заниматься мелкими посторонними делами, ее одолевала усталость, и она засыпала в своем кресле. А заведя будильник, выходила на лестницу или на чердак вовсе безо всякой надобности именно в тот момент, когда будильник звонил. Когда же бедная женщина умудрялась наконец явиться в гости с опозданием, она не переставая мучила хозяев дома своими слишком обстоятельными, отчаянными извинениями.

Время шло, лучше ей не становилось. Как тяжело, когда тот, кого слишком высоко ценят, ведет себя неподобающе, столь абсолютно неподобающе, и происходит это так быстро, что никто не успевает вовремя прийти ему на помощь. Посреди какой-либо фразы тетушка Герда забывала, кто из ее внучатых племянников мальчик, а кто девочка, и панически замолкала, после чего, чрезвычайно понизив голос, говорила брату или сестре:

– Я хочу сказать, как поживает твой малютка?

Она говорила «Разрешите представиться!» людям, которых давно знала, и страх ее был при этом столь явным, что вызывал вокруг чувство подавленности.

Для того чтобы лучше понять манеру поведения тетушки Герды в период между зимой и весной тысяча девятьсот семидесятого года, требуется более подробное объяснение.

Возможно, мы недостаточно обращаем внимания на то,



что непрерывно свершается с теми, кого мы любим, на тот кипучий, интенсивный процесс жизни, который, пожалуй, во всей его полноте могут охватить лишь такие личности, как, например, тетушка Герда, – разумеется, до всех тех изменений, которые с ней произошли. «Они любили сдавать экзамены, а потом добиваться ученых степеней либо не добиваться их, они получают прибавку к заработной плате и стипендии либо ничего не получают, кроме детей или выкидышей и комплексов, у них трудности с прислугой, и с половыми сношениями, и с упрямыми детьми, выдающими все возрастающую самостоятельность, и с ложными представлениями, и с деньгами, а возможно, с желудком, или зубами, или их верой, или профессией, или чувством собственного достоинства. Они запутываются в политике и в своих амбициях, и обманывают самих себя, и разочаровываются, на их долю выпадают измены, и похороны, и всякого рода ужасы, и постепенно у них появляются морщины и тысячи других вещей, о которых они и не помышляли, и все это есть и у меня, – печально думала тетушка Герда, – все ясно как день, и я не совершала никаких ошибок! Я никогда не ошибалась. Что же такое случилось?!»

Она часто просыпалась по ночам и долго не могла заснуть. Иногда она удивлялась, есть ли на свете спокойные и счастливые люди и существуют ли они вообще, а если они встретятся, посмеет ли она привлечь к себе их внимание. «Нет, – думала тетушка Герда. – Все-таки они носят нечто тайком в

своей душе, они скрывают тяжесть, которой хотели бы поделиться. Письма, и подарки, и глянцевые картинки, выражающие нежность, важны. Но еще важнее слушать друг друга лицом к лицу, это большое и редкостное искусство».

Тетушка Герда всегда умела слушать. Быть может, тут отчасти помогало присущее ей умение формулировать свои мысли, а также отсутствие любопытства. Она слушала всех своих родных с тех пор, как была молода, слушала, когда они говорили о самих себе и о других, включала их, как и саму себя, в огромную, придуманную ею замысловатую книгу жизни, где разные события пересекались и следовали одно за другим. Она вслушивалась как бы всем своим большим плоским лицом, неподвижно и слегка наклонившись вперед, а взгляд ее был удрученным, иногда она быстро поднимала глаза, и в них читалась откровенная боль. Она не дотрагивалась до своего кофе и не обращала внимания на то, что сигарета ее догорает. И лишь в короткие промежутки времени, которые далее трагедия предоставляет для пошлых, но необходимых объяснений, она позволяла себе жадно затянуться сигаретой, выпить кофе и осторожно, стараясь не звенеть, поставить чашку на стол. Тетушка Герда была, собственно говоря, не чем иным, как воплощением тишины. А потом невозможно было вспомнить, что она говорила, может, всего лишь, затаив дыхание, спрашивала:

– Да? Да?..

Или же коротко вскрикивала в знак сочувствия. Между

тем, пока годы шли, а желание осознать происходящее все возрастало в душе тетушки Герды, не появилось ни единого человека, который побеспокоился бы о том, знает ли об этом ее желании она сама. Все они полагались на ее способность самозащиты, они позволяли ввести себя в заблуждение этой ее особенностью – простодушие сочеталось в ней с умением не вмешиваться. Рассказывать ей что-либо было все равно что рассказывать дереву или преданному животному. И никогда после этого ни малейшего чувства неудобства, которое обычно сопровождает тебя, когда разоткровенничаешь. Теперь же, казалось, тетушка Герда утратила свою наивность. Ее большое лицо, полуоткрытые и ничего не выражающие глаза, ее короткие возгласы не изменились, но они потеряли какую-то часть присущей им робости и естественного желания узнать, чтобы понять и благодаря этому полюбить. В глазах ее затаилась уже совсем не та прежняя боль, и у нее появилось какое-то раздражающее, беспомощное движение руки, взывающее, казалось, о прощении.

В ту зиму и весну немногие звонили тетушке Герде, в ее квартире наступила тишина, совершенно мирная тишина, и прислушивалась тетушка лишь к шуму лифта, а иногда – дождя. Она часто сидела у своего окна, наблюдая за переменами времен года. У нее был эркер – в форме полукруга, довольно прохладный, окно было круглым и теперь, в марте месяце, украшено ажурной ледяной решеткой. Сосульки были толстые и изумительно отполированы проточной водой,

вечерами они становились голубыми. Никто не звонил ей, и никто не приходил. Она думала, что окно – это огромный глаз, взирающий на город, на гавань и на полосу моря под льдом. Непривычные тишина и пустота в квартире были для нее не только утратой близких, но и своего рода облегчением. Тетушка Герда чувствовала себя воздушным шаром, выпущенным из рук и блуждающим по воле ветра. «Но, – думала она всерьез, – это воздушный шар, который забивается под крышу и не может двинуться дальше». Она понимала, что так жить нельзя, человек не создан, чтобы бессмысленно парить в воздухе, он нуждается в земной точке опоры, в заботах и смысле жизни, чтобы не затеряться в ее сумятице. Однажды, когда началась капель, тетушка Герда решила потренировать свою память и вернуться к прежнему простому образу жизни. Она составила список преданных ей людей, которых смогла вспомнить, их детей и внуков, а также других родственников, и попыталась припомнить, когда они все родились. Лист бумаги оказался слишком мал. Тетушка Герда развернула на обеденном столе большой рулон бумаги, предназначенной для поздравлений, и укрепила его кнопками. Она написала имя и дату рождения каждого родственника, а против каждого имени нарисовала круглой линией голову, название же своей работы тетушка поместила в маленьком красивом овале, детей – совсем близко от родителей – и соединила с ними красными линиями. Все любовные связи она начертала розовым мелком, двойными же линия-

ми – все незаконные и запретные отношения. Тетушка Герда почувствовала глубокую заинтересованность. На бумаге появились усложненные головы, окруженные обширным розовым ореолом, словно галактики, гигантские звездные системы, что внушают трепет и, однако же, вызывают почему-то сожаление.

Тетушке Герде впервые довелось испытать подобное переживание – составить картину родственных отношений и любовных связей, причем картину необычную. Она накупила мелков разных цветов. Она продолжала добросовестно рисовать: разводы обозначала она фиолетовым мелком, а ненависть – красным, как лак; линии верности – светлым. Умершие были серого цвета. Она оставляла место для описаний тех фактов и дат, которые составляют человеческую жизнь. Теперь у нее было время для воспоминаний. Время не представляло больше опасности: оно существовало параллельно с ней самой, поскольку ей нужно было запечатлеть его в маленьком красочном овале. Тетушка Герда отмечала кражи денег, кражи детей, кражи работы, а также кражи любви и доверия. Она вспоминала тех, кто, обладая нечистой совестью, причинял вред друг другу, или замалчивал достоинства других, или задерживал их продвижение по службе. Она соединяла их линиями, подчищала и делала поправки. Время больше не раздваивалось, и она прислушивалась лишь к своему собственному внутреннему голосу. Из забвения рождались звуки, рождались голоса, рождались лица, которые

сливались воедино и обнажались, выпячивая губы, люди, которые говорили и говорили без конца. Тетушка Герда собрала всех родственников вместе, она позаботилась обо всех. То, что попадало в овал, избавлялось от бремени страданий, но сохраняло свое внутреннее содержание. Память тетушки Герды открывалась, словно большая раковина, каждая линия была ясной и отчетливой; даже чрезвычайно отдаленное эхо постепенно приближалось, превращаясь в шепот.

Весна продолжалась, а тетушка Герда переносила свою большую карту жизни на пергамент. Ей немного мешало то, что там встречались повторы, которые могли показаться банальными, но ведь поведение людей диктуется определенными правилами. У нее на карте, помимо длительных и повторяющихся событий, отражались исключительные единичные поступки, например попытка убийства – ее она обозначила пурпурным цветом, ощутив легкий холодок напряженности, быть может подобный тому, какой испытывает коллекционер, наклеивая бесценную фальшивую марку на подходящее ей место в классе.

Иногда тетушка Герда сидела спокойно, не пытаясь вспоминать, погруженная в свою звездную систему минувшего и грядущего, она предчувствовала неизбежное изменение линий и овалов. У нее появилось желание предвосхитить то, что должно было произойти, обозначить эти новые линии, быть может, серебром или золотом, поскольку все другие цвета были уже использованы. Она тешилась шальной мыс-

лю — заставить точки и овалы передвигаться, словно костяшки домино, менять взаимосвязи и создавать новые созвездия и запутанные цепи событий с непредсказуемыми последствиями.

Несколько раз звонили по телефону, но тетушка Герда говорила, что простужена и не принимает гостей.

К концу апреля она начала рисовать раму вокруг карты, — раму, состоящую из мелких удивительных орнаментов, несколько похожих на те фигуры, которые по рассеянности рисуют в телефонной книжке, пока разговаривают. Она вслушивалась в свой внутренний голос, в слова, кратко резюмирующие ее рассуждения.

Сын брата позвонил по телефону и спросил, может ли он подняться к ней, но тетушка Герда ответила, что у нее нет времени. Составление карты приближалось к своему завершению, это был чрезвычайно важный момент, и дело не терпело никакого постороннего вмешательства.

Крупные планеты крепко держат в своей орбите мелкие, спутники движутся своим, предначертанным им путем, а могучие линии усопших пересекают все остальные, все двойные, все подчеркнутые линии, а также все цепочки линий.

Сплошные просчеты, разочарования и потери. Тетушка Герда начертала все прекрасные человеческие взаимоотношения такими светлыми мелками, что их затмили более яркие, а возможно, светлые линии стерлись в процессе работы. Теперь она шлифовала лишь слова, составляя краткие энер-

гичные предложения, где каждое содержало ее выводы. Каждое слово было предназначено для кого-нибудь, кто очень внимательно слушал. «Ты знал, что виноват в его смерти? Ты знал, что ты не отец своей дочери? И что твой друг дурного мнения о тебе?» И карта, соответственно, менялась, а тетушка Герда проводила свою первую линию золотой краской. Это была ужасающая и упоительная игра мысли, а называлась она «Слова, которые убивают». В нее можно было играть только вечером у окна. Тетушка Герда полагала, что подобные слова должны ложиться на бумагу с длительными перерывами во времени, если они, конечно, в самом деле когда-нибудь будут произнесены. Восьми-девяти слов было бы достаточно для ощутимых изменений в этом огромном проекте, лежавшем на обеденном столе. А позднее, в свое время, — новые слова для кого-то нового, умеющего слушать, и снова картина изменится. Эффект возможно предусмотреть и рассчитать так же, как при игре в шахматы с самим собой... Тетушка Герда вспомнила несколько поэтических строк из любимого ею произведения, читанного в дни юности: «Бьёрн и Фритьоф за игрою перед шахматной доскою: блещет клетчатое поле жаром злата и серебра...»<sup>1</sup> Ей необходимо было чертить свои линии серебром и золотом и долго ждать, прежде чем взяться за следующую. Время у нее имелось, да и материал — неисчерпаем.

---

<sup>1</sup> Слова из романтической поэмы шведского поэта Эсайаса Тегнера (1782–1846) «Сага о Фритьофе» (1819–1825, опубл. 1841) (пер. со швед. Я. Грота).



Дело было в начале мая. Долго-долго, допоздна в светлые июньские ночи она сидела у своего окна и играла в великую опасную игру. Она не зажигала ламп, ночь была ослепительно-голубой, прозрачной и медленно меняла краски, которые приходят вместе с весной. Ей не надо было смотреть на карту, она знала ее наизусть. Как и раньше, слова ее превращались в фразы и обретали форму, линии и овалы менялись местами, а краски постоянно чередовались. Впервые в жизни тетушка Герда переживала сладостное и горестное осознание своей власти.

Когда потеплело, она открыла окно, надела плащ, накрыла шерстяным пледом ноги и, сидя в эркере, стала смотреть на город и полоску моря вдалеке. Она слышала шаги и голоса внизу, на улице, каждый звук был совершенно ясен и отчетлив. Все, проходившие мимо, казалось, держали путь в гавань. Тетушка Герда почувствовала, что комнаты, в которых она жила, больше не окружают ее, они отвернулись от нее, они повернулись к улице. Необычайно светлая ночь внезапно стала тревожной и овеяла ее грустью. Она думала о том неизвестном ей, что происходило в этот момент снаружи. Каждую минуту на улице что-то происходило. Тетушка Герда долгое время сидела совсем тихо, затем, отшвырнув плед, вышла в прихожую. Позвонив племяннику, она спросила, не хочет ли он ненадолго подняться к ней и поговорить немного о своей картине, но он был занят и не мог прийти.

– Живопись... – сказал он. – Это было так давно, тетушка

Герда. Теперь я работаю у папы.

Положив трубку, она вошла в столовую. Карта была почти различима в полутьме, теперь она напоминала чрезвычайно древнее изображение земли, видимое с небес, нарисованное в те времена, когда исследованные острова были огромны, а неизведанные континенты ничтожно малы.

Тетушка Герда была перфекционистом, человеком, стремящимся к совершенству, возможно, она и сама об этом не знала или же ей было даже незнакомо это прекрасное и пронзительное слово; она сочла лишь, что дело, сотворенное лишь наполовину, не имеет никакого смысла. Время обмануло ее, это ужасное время, которое она снова упустила. Ее карта оказалась недействительной. Она медленно свернула ее, перетянула рулон тремя резинками и сверху написала: «Сжечь непрочитанным после моей смерти». «Это была прекрасная работа, – подумала тетушка Герда. – Собственно говоря, жаль, если никто из родственников хотя бы не взглянет на нее». Она положила карту на самую верхнюю полку шкафа в прихожей и закрыла окно; шаги и голоса на улице исчезли. Затем она зажгла лампу над обеденным столом и вытащила коробку с глянцевыми картинками и засушенными цветами. По одной картинке, по одному цветку выкладывала она на стол и вспоминала, какими они казались ей прежде. Затем тетушка Герда протянула свою большую ловкую руку и одним-единственным движением заставила все эти прекрасные картинки снова соскользнуть в коробку. Кое-какие

блестки упали на ковер и засветились там, голубоватые, как  
ночь за окном.

*Перевод Л. Брауде*

## Разгружать песок...

Шаланда с песком причалила у подножия горы, и мешки с цементом перенесли на берег. Теперь команда разгружала песок. Они нашли сильного парня, способного толкать тачку. Раз за разом он переправлял ее к берегу, сначала медленно, а потом, грохоча и делая широкие шаги, заставлял дощатый настил качаться, затем подтаскивал тачку к подножию горы, приподнимал колесо на настил, довольно быстро взбежал вверх по склону и отпускал груз на свободу. Пока песок высыпался вниз, он поворачивался лицом к морю и почесывал голову с таким видом, будто все это его ни в малейшей степени не касалось и делалось лишь развлечения ради. Его спина и руки блестели на солнце. Брюки были туго натянуты, а маленькая засаленная шапчонка – едва ли больше листка, который угораздило, кружась в воздухе, упасть вниз ему на волосы. В конце концов он протягивал руку, вытряхивал песок из ящика тачки дочиста, одним резким движением поворачивал ее назад и, снова громыхая колесом, спускался вниз со склона горы к шаланде. Пока тачка катилась по настилу, слышались лишь легкие шаги его ног. Потом он сплевывал через перила с таким видом, словно он всему миру хозяин и начхать ему на это дело. Он позволял другим поднимать с помощью лебедки бочку с песком наверх и опустошать ее. Он был великолепен!

Она стояла, буквально прилипнув к мешкам с цементом, и смотрела. Ничего значительного с тех пор, как она научилась нырять, не происходило, а теперь все нахлынуло разом: и разгрузка песка, и это внезапное умение нырять. Она не могла быть в двух местах одновременно, это было невозможно. Вот так! Сначала ничего, ну просто ничегошеньки не случается, а потом приходится выбирать, и это нелегко.

Она встала в четыре часа утра, чтобы не терять времени и чтобы владеть всей виллой. Стены и пол поделены по-новому полосами солнечного света, который уже целый день не возвращался; спящий дом со всеми его по-летнему желтыми, покрытыми олифой стенами пронизывал насквозь свет раннего утра, и было абсолютно тихо. Она отворила окно на веранде, и гардина широко вздулась; воздух на воле был холодный. В кладовой нашлось лишь два мясных биточка. Она сунула их в рот прямо из миски, быстро слизала застывший соус и взяла одну ковригу хлеба из металлической хлебницы.

В саду благоухало утро – прохладный и преисполненный ожидания аромат. С каждым шагом она, торопясь и жуя на ходу, удалялась от виллы, спускаясь вниз, к берегу, и дальше по камням; прыжок... и два шага – абсолютно точно! Она все время ела на ходу.

Теперь он разбежался для прыжка и, снова удерживая тачку на дощатом настиле, на четвертом шагу переступил на другую ногу и перешел к длинным упруго-гибким прыжкам,

а позже к резким, прерывистым, жестким звукам, когда тачка пересекала горный склон. Новый поток песка, хлынув, присоединился к этим звукам, и парень повернулся лицом к морю.

Она стояла за мешками с цементом и жутко завидовала ему. Нужно было что-то предпринять – теперь или никогда! Она перепрыгнула через край шаланды и закричала в грузовой трюм:

– Могу я помочь?

Голос ее прозвучал отчаянно смело, и ей стало стыдно.

Внизу во мраке стояли двое стариков, они не ответили. Один-единственный раз глянули они вверх и продолжали сгребать лопатами песок. Бочка была почти полной. Девочка села на палубе и покорно ждала. Он вернулся назад со своей тачкой, и песок вновь подняли наверх. Два раза возвращался парень обратно, и она не осмеливалась глянуть на него. В третий раз ей позволили спуститься в грузовой трюм.

Дневной свет исчез, словно скрылся за дверью, огромное помещение было овеяно глубокой и прохладной тенью. Бочка вновь спустилась вниз. Девочка схватила песок лопатой и что есть сил быстро подняла его вверх. Лопаты со звоном скрестились, а руки ее словно загорелись.

– Это надо делать спокойно и равномерно, – сказал один из стариков. – А как делает это она! Подумать только!..

Она послушно ждала, пока они наполняли бочку и поднимали ее наверх. Выгружать песок – словно бы прыгать

по камням: надо внимательно и точно рассчитывать каждое движение и делать лишь крайне необходимое, а еще – никогда не промахиваться. Поступать точь-в-точь как парень с тачкой. Тачка снова спустилась вниз. Девочка наполняла песком лопату и взмахивала ею в ту самую нужную минуту, что принадлежала ей одной. Она поднимала лопату и равномерно опустошала ее вместе с другими грузчиками. Все три лопаты сверкнули в сумрачном грузовом трюме, и разгрузка была завершена. Ноги глубоко скользнули вниз в рыжий влажный песок. Когда бочка наполнилась, все трое одновременно прекратили нагружать песок; они оперлись, отдыхая, на лопаты, и глядели, как там, наверху, бочка взмещается ввысь вместе с лебедкой. А он ходил взад-вперед, покачиваясь на досках настила, бочка же снова и снова спускалась вниз то с одной, то с другой стороны кия – по очереди.

Первый взрыв раздался в глубине залива. Мне бы следовало быть и там тоже! Мне хотелось быть всюду! Как я смогу дальше жить, если все время придется выбирать меж двумя делами!

– Пора завтракать! – сказал старик и сунул лопату в песок.

Когда девочка поднялась на палубу – ослепительно сияло солнце. Подойдя к перилам, она сплюнула в море, сплюнула очень спокойно. Тут раздался новый взрыв, столб воды поднялся над лесной опушкой – невероятно высоко – и, прежде чем опуститься, долгое время оставался в воздухе. Столб был совсем белый. И как раз в этот миг над берегом

потянулась стоя лебедей. Она никогда прежде не видела лебедей в полете... и они кликали, они пели! Новый столб воды поднялся к небу, соединился с летящими птицами крест-накрест, и долго длившийся миг гигантский белый крест виднелся на фоне голубого неба.

Она помчалась по дощатому настилу, легко и чуть шатаясь; вскинув голову, она отбежала в сторону, мимо мешков с цементом, и вниз, в лес. Лес был тих и преисполнен до краев летним теплом, весь июнь пылало низко на горизонте, словно великолепно раскаленный дождь, солнце, а над трясиной носился гонимый ветром туман. Она вбежала в прохладу тумана и снова выбежала в тепло, и опять нырнула в прохладу и пробежала сквозь заросли восковника<sup>2</sup>. Она растянулась во всю длину на мшистой топи, и восковник прогнулся под ней вплоть до самой болотной воды.

Сколь долгое время должно было минуть, прежде чем она стала взрослой и счастливой.

*Перевод Л. Брауде*

---

<sup>2</sup> *Восковник* – вечнозеленый кустарник с красивыми белыми душистыми цветками (*бот.*).



# День рождения

В двадцать минут четвертого младшая из фрёкен<sup>3</sup> Хэгер зажгла свечи на праздничном торте в честь дня рождения, уже наступили сумерки. Ее сестра достала из холодильника мороженое и начала раскладывать его в вазочки на серебряном блюде.

— А ты не можешь заняться этим немного позднее? — спросила Вера Хэгер. — Они появятся с минуты на минуту, и мы, пожалуй, сможем принять всех гостей вместе. Я не привыкла...

Аня продолжала раскладывать мороженое.

— Прими их в гостиную, — сказала она. — Подай им сок. Я приду, как только закончу...

Вера вышла в прихожую. Она услышала шум поднимающегося вверх лифта, он остановился, и она открыла дверь. То был дворник, он кивнул ей, продолжая подниматься по лестнице на чердак.

— Извини, — сказала фрёкен Хэгер, — я думала, это к нам. Мы как раз ждем гостей...

Она снова закрыла дверь и продолжала стоять возле нее. Ей не понравилось, как дворник поздоровался с ней, но объяснить ему что-то бесполезно, и ей не следовало ничего говорить. Лифт вернулся. Она подождала, пока зазвонил зво-

---

<sup>3</sup> Фрёкен (швед.) — барышня, мадемуазель.

нок, и открыла дверь. То были трое детей: два мальчика и очень маленькая девочка в сопровождении гувернантки.

– Добро пожаловать! – сказала ей фрёкен Хэгер. – Дело в том, что нашей племяннице, дочери нашего брата, исполняется год, а ее родители в отъезде, и поэтому мы, моя сестра и я, подумали, что нам надо устроить небольшой праздник...

Дети сняли сапожки, плащики и шапочки и положили их на пол, а гувернантка ушла.

– Как вас зовут? – спросила фрёкен Хэгер. Мальчики, глядя мимо, не ответили, но девочка прошептала:

– Пиа!

В дверь снова позвонили. Пришли еще четверо детей, один из них – с мамой. Все больше и больше детей входили в квартиру, снимали с себя верхнюю одежду, а виновница торжества все не появлялась. В прихожей было ужасно жарко.

– Проходите!.. – пригласила гостей фрёкен Хэгер. – Будьте так любезны пройти в гостиную, чтобы всем хватило места в прихожей, не стойте в дверях, оставьте место для других.

Дети пошли в гостиную. Она захлопала в ладоши и воскликнула:

– Начинайте играть! В какую игру вы хотите?..

Они смотрели на нее, не отвечая. Вера Хэгер отправилась в кухню и сказала сестре:

– Тебе надо пойти туда, иди сейчас же. Ничего не получается.

Сестра подняла блюдо с разукрашенным мороженым и спросила:

– Что ты имеешь в виду? Что не получается?

– Праздник! Они просто молча стоят – думаю, я им не нравлюсь. И Даниэла не пришла!

– Возьми блюдо, – сказала Аня. – Пойди в гостиную и угости их мороженым. Я позвоню и спрошу...

Она подошла к телефону и набрала номер... Занято! Она попыталась снова. Сестра с блюдом в руках стояла за ее спиной и ждала.

– Поставь мороженое или отнеси его в гостиную! – посоветовала Аня.

– Забери его сама! – воскликнула Вера. – Будь так добра, забери его. Дай мне позвонить, я с удовольствием это сделаю; буду звонить до тех пор, пока не ответят.

Сестра взяла у нее из рук мороженое и пошла в гостиную. Теперь в прихожей было совершенно спокойно. Вера снова и снова набирала номер, телефон был занят.

Аня Хэгер разбросала серпантин над головками занятых мороженым детей. Бросать она умела. Спокойно и не торопясь она соткала многоцветные сети вокруг всей большой комнаты. Свечи быстро сгорали в тепле, собирая талые слезиновые озера меж розами из марципанов. Она погасила свечи. Затем разделила воздушные шары и сказала детям, где умывальная комната, после чего вышла в прихожую.

– Не отвечает, – сказала Вера. – Может ли быть, что мы

перепутали день? Как ты думаешь, что-то случилось?

– Думаю, они забыли положить трубку, – ответила сестра.

– Дети играют? Им весело?

– Они едят, – ответила Аня. – Ты можешь зайти к ним и побыть с ними часок, а я собираюсь немного почитать.

И она прошла в спальню.

Вера Хэгер стояла в дверях гостиной и смотрела на детей. Они не были уже больше скованны, они толкались, нависали над столом, а одна девочка построила домик из апельсинов. Другая ела мороженое, сидя под столом. Вера медленно подошла ближе.

– Вам весело? – спросила она.

Дети перестали есть и уставились на нее. Они долго разглядывали друг друга сквозь занавес из многоцветного серпантина.

– Когда я была маленькая, – произнесла фрэнк Хэгер, – никто и слыхом не слыхал про мороженое. Мороженое, думается мне, появилось гораздо позднее... Не беспокойтесь о Даниэле, она, верно, скоро придет, может, с минуты на минуту...

Дети почти не шевелились. Домик из апельсинов распался, и фрукты упали на пол. Один из них подкатился к самым ногам Веры Хэгер, она повернулась и ушла в спальню. Ее сестра читала, лежа на своей кровати.

– Не понимаю, – сказала Вера. – Не понимаю. Почему с нашими праздниками вечно что-то не получается. Даже с

детьми...

– Возьми и почитай что-нибудь, – посоветовала Аня.

Лампа на ночном столике была зеленой – мягкий свет над изголовьем. Внезапно они осознали, что часы тикают.

– Пожалуй, можно потолковать об этом, – предложила Вера.

Аня не ответила. Ее очки отражали свет, так что не было видно ее глаз.

Она разрежала страницы по одной, и всякий раз, когда она клала ножик обратно на стеклянную поверхность ночного столика, слышался звон. В квартире же было очень тихо.

Вера Хэгер встала и открыла дверь.

– Они погасили свет, – прошептала она.

И тут в гостиной раздался львиный рык.

– Они играют, – сказала Аня Хэгер, – они играют в диких зверей. Так что не присматривай за ними. Им весело.

Внезапно она почувствовала, как бесконечно устала от своей сестры.

– Дети играют, – резко продолжила она. – Они не такие, как мы.

Лицо Веры исказила гримаса, и она, бросившись на кровать, заплакала. Ее небольшая головка вся была в жидких локонах, которые она предположительно никогда не могла разглядеть в зеркало. «У нее нет затылка, – подумала Аня. – Абсолютно». Вера надела очки и сказала, уставившись в книгу:

– Прости меня. Я ведь только говорю, что им весело. Праздник удался, они едят и рычат друг на друга. Светская жизнь – это джунгли, где все улыбаются и скалят зубы...

Произнося эти слова, она выдвигала ящик ночного столика, а сестра ее автоматически потянулась к носовому платку, высморкалась и сказала:

– Спасибо! Что ты имеешь в виду, говоря «скалишь зубы», о чем ты?

Аня Хэгер села на кровати и, глядя в стенку, произнесла:

– Светская жизнь ужасна, если не любишь тех, кого приглашаешь к себе домой. Улыбаешься, скалишь зубы, потому что боишься. Дети правильно поступают. Они устраивают темные джунгли и рычат.

– Не понимаю, – ответила Вера.

– Есть ли кто-нибудь, – спросила Аня, – есть ли хоть один-единственный человек, которого мы захотели бы видеть?

– Пытаешься поссориться со мной? – спросила Вера.

Аня ответила:

– Возможно. Но как раз не теперь. Я спрашиваю, чтобы знать. Ведь можно поговорить друг с другом.

– Мы никогда не говорим, – произнесла Вера. – Мы только живем.

Они прислушались к звукам в гостиной, и Аня сказала:

– Это была гиена. Как ты думаешь, это гиена?

Вера кивнула.

– Видно, что я плакала? – спросила она.

– Это видно всегда, – ответила сестра.

Она вышла из спальни и направилась в гостиную. Дети сняли обувь и заползли в темноте под стол, стулья, кресла и диван. Она слышала, как они рычали друг на друга. Двое затеяли драку, они катались, ворча, в неясной полосе света из прихожей.

Зазвенел дверной колокольчик, фрёкен Хэгер включила свет и открыла дверь. Дети вышли из гостиной и стали разыскивать свои плащики, сапожки и шапочки. Все время работал лифт, и в конце концов прихожая опустела, там висели лишь два длинных черных плаща. Пол гостиной был завален затоптанным серпантином и остатками торта. Аня собрала тарелки и вынесла их в кухню. Вера сидела у кухонного стола и ждала. Она сказала:

– Тебе незачем говорить, что праздник удался. Я устала оттого, что ты вечно говоришь одно и то же.

– Вот как, ты устала? – спросила ее сестра. – И я вечно говорю одно и то же?

Она осторожно поставила тарелки в раковину и прислонилась к столу для мытья посуды – спиной к кухне. А потом спросила:

– Ты очень устала?

– Устала очень, – прошептала Вера. – Что ты хочешь, чтоб я сделала? Что-то неладно?

Аня Хэгер прошла мимо сестры, легко притронувшись к

ее плечу.

– Ничего, – ответила она. – Пусть все остается как есть, уже слишком поздно. Слишком поздно для уборки. Мы пойдем и ляжем спать, а посуду вымоем завтра утром.

*Перевод Л. Брауде*



## Спящий

Она втиснула телефон в шкаф и заговорила как можно тише:

– Ты с ума сошел, звонить среди ночи! Здесь люди!

– Послушай, что я скажу, – произнес он. Голос его прозвучал будто чужой из-за того, что он пытался оставаться спокойным и не мог. – Я не стану называть тебе никаких имен! Не спрашивай... Но кое-кто позвонил, что мне надо пойти и взять ключ у кого-то... ты понимаешь... Это один человек, о котором они беспокоятся, а пойти не могут, потому что сами далеко.

– Как ты полагаешь, – спросила она, – чей это ключ?

– Я же говорил, что ты не должна ни о чем спрашивать. Я хочу взять тебя с собой. Это ужасно важные дела.

– Снова ты что-то выдумал, – сказала Лейла. Но мальчик воскликнул:

– Нет! Нет! Это важно! Пойдем со мной, раз я прошу.

– Ну, если хочешь взять меня с собой, ладно, – ответила девочка.

Они поднялись по незнакомой лестнице и открыли дверь чужим ключом. Прихожая была забита полуоткрытыми коробками, большое зеркало в золоченой раме стояло прислоненное к стене. Комната была большая и безо всякой мебе-

ли, с неоновыми лампами на потолке. Человек лежал на полу, голова на вышитой подушке, и тяжело дышал. То был громадный парень с багровым лицом и копной каштановых волос. Он был старый. Самое малое, лет тридцати пяти.

– Кто это? – прошептала она. – Он убит?

– Я ведь говорил, что не знаю, – ответил мальчик. – Они позвонили. Я рассказывал тебе... По телефону.

– Он умирает? – спросила она. – Ты мог перебудить весь дом. И что нам в таком случае делать сейчас?

– Позвонить врачу. Куда звонить? Ты не знаешь, куда звонить ночью?

– Нет!

Она так замерзла, что вся дрожала.

Он вышел в прихожую, повернулся в дверях и сказал:

– Тебе совершенно нечего беспокоиться. Я все улажу. – Вскоре он воскликнул: – Ноль-ноль-восемь! Я отыскал в справочнике. Написано прямо на переплете.

Девочка не ответила. Она неотрывно смотрела на огромного спящего человека, его рот был открыт, и выглядел он ужасно. Она отошла как можно дальше от него. Никаких стульев не было, но ясно, сидеть было бы неуместно.

Ральф говорил в прихожей по телефону, он взял все на себя, он нашел врача. Она позволила себе впасть в состояние абсолютной усталости, в мягкое и приятное чувство зависимости. Когда он вернулся, она подошла к нему и взяла его руки в свои.

– Что это с тобой? – раздраженно спросил мальчик. – Дело сделано. Они приедут. Я открою им дверь через десять минут.

– Тогда я пойду с тобой, одна я тут не останусь.

– Не будь смешной. Вдвоем – это будет попросту выглядеть глупо. Назойливо!

– Ты всегда беспокоишься о том, как это будет выглядеть, – сказала она. – Ну и что же, если речь идет о жизни и смерти!

Он поднял брови и, стиснув зубы, открыл было рот... Гримаза омерзения и презрения. Лицо Лейлы побагровело.

– Ты сам сказал, что это важно. Зачем ты взял меня с собой сюда? Что у меня общего с этим толстым стариканом? Что мне с ним делать?

Подняв руки, он потряс ими у нее перед глазами.

– Ты что, не понимаешь?! – воскликнул он. – Чтобы хоть один-единственный раз сделать что-то серьезное вместе с тобой!

– Не ори! – сказала она. – Ты разбудишь его!

Он начал хохотать и, прислонившись к стене, все хохотал и хохотал. Девочка холодно разглядывала его, а потом спросила:

– Ты смотрел на часы, когда звонил?

Он перестал хохотать и вышел, входная дверь внезапно хлопнула. Теперь слышалось лишь тяжелое дыхание совсем рядом, иногда оно становилось ближе, а иногда, казалось, со-

всем далеко.

«Подумать только: что, если он умрет, когда я одна? Почему они становятся такими ужасными, когда старятся, почему не могут устраивать свои собственные дела?» Она смотрела на него все время, пока выходила, пятясь, из комнаты. Тихонько открыла дверь и стала ждать. Вот они! Лифт остановился. Врач вошел, не здороваясь. Он был невысокого роста и казался рассерженным. Словно его потревожили совершенно напрасно. В прихожей запахло мастикой. Внимательно разглядывая узор на линолеуме, она пока тихо стояла в ожидании, когда все кончится. «Если на то пошло, я не хочу при этом присутствовать. Скверно, и непонятно, и ужасно, если так всегда и бывает, я не желаю... Все это меня не касается, это случается с другими по ночам...»

Они разговаривали в комнате. Внезапно раздался еще один голос, невнятный и зловещий, голос человека на полу. Голос, звучавший откуда-то издалека, из какого-то деревенного равнодушия. Потом вдруг он вскрикнул яростно и сердито. Девочка Лейла задрожала. «Пойду домой, – думала она. – Вот только открою дверь и уйду».

Она ждала. Они вернулись, и врач прошел мимо нее не поднимая глаз, по-прежнему с гневным видом.

– Он вызовет санитарную машину? – спросила Лейла.

Мальчик, усевшись на пол, сказал:

– Нам придется остаться здесь. Ему никак нельзя в больницу, но его будет утром тошнить.

– Ты хочешь сказать, мы останемся здесь?! – воскликнула девочка. – Я этого не сделаю.

Он сдвинул колени и обхватил их руками.

– Убирайся куда хочешь! – злобно выговорил он. – Я сделаю то, что мне велели сделать. А на все остальное мне наплевать.

Они сидели, молча прислушиваясь к дыханию человека в комнате.

– А что, если его сейчас стошнит? – сказала девочка. – Надо найти таз. Или ведро.

Мальчик, передернув плечами, положил голову на колени.

– Пойдешь со мной в кухню и посмотришь? – покорно спросила она.

– Нет! – ответил Ральф.

Она прошла в кухню и зажгла свет. Все шкафы и полки были пусты. Перед столиком для мытья посуды стояла коробка с надписью «Хозяйство», наклеенной поперек. Она вернулась обратно и проговорила:

– Там стоит запечатанная коробка, но я боюсь открыть ее посреди ночи.

– Вот как! – воскликнул Ральф. – Какого черта ты думаешь, что я посмею взять инструмент среди ночи!

Она посмотрела на него снисходительно и терпеливо и сказала:

– Если они написали на коробке «Хозяйство», то навер-

няка написали «Инструмент» на другой. Может, она не заклеена.

Они нашли молоток. Поставили умывальный таз рядом со спящим. Выдали ему полотенце и одеяла.

– Как ты думаешь, может, надо погасить свет? – спросила Лейла. – Как будет лучше – светло или темно, когда он проснется?

– Не знаю! Я с ним не знаком. Этот неоновый свет – просто чудовищный, быть может, будет лучше, если темно.

– Это не так уж и обязательно, – сказала Лейла. – Если будет темно, он может подумать, что умер, или испугается, и вообще лучше все видеть.

– Послушай-ка! – произнес Ральф. – Время – четыре часа. Давай немного поспим.

Он расстелил одеяло на полу.

– Я буду спать в углу, здесь, – сказала Лейла.

– А почему ты не можешь лечь рядом со мной?

– Это неудобно.

– Это пришло тебе в голову только сейчас?

– Он! – горячо прошептала она. – Он там, в комнате. Только представь себе: что, если он умрет!

Мальчик завернулся в одеяло и сел лицом к стене. Он сказал:

– Ты такая же, как твоя мама. – А немного спустя: – Лейла! Иди сюда, будет лучше!

Она сразу же подошла, и он накрыл их обоих одеялом.

Свет в прихожей погасили, но из комнаты их окутывал голубой неоновый свет, лившийся словно из больничной палаты.

– Послушай, – сказала Лейла. – Почему ты вдруг подумал, что мы никогда ничего серьезного вместе не делаем?

– Ничего особенного. Что я сказал?! Мы не делаем ничего серьезного, только встречаемся друг с другом. Ничего нужного.

– А кому это нужно?

– Не знаю, – ответил Ральф. – Я думал, это прекрасно, что я захотел взять тебя с собой. А теперь не знаю. Давай попытаемся заснуть.

– Я не могу спать. – Она обвила его рукой и прошептала: – Быть может, ты полагаешь, что для тебя это утешение, когда я с тобой.

– Ха-ха! – произнес Ральф. – Да уж, утешение, сплошное утешение.

Она отняла руку, села и промолвила:

– Во всяком случае, это я догадалась об этом – ну, чтобы поставить ему таз.

Человек в комнате закричал во сне долгим криком, словно падал в пропасть и вот-вот должен был погибнуть. Они вскочили и вцепились друг в друга.

– Он умирает! – воскликнула Лейла. – Сделай же что-нибудь!

Мальчик оттолкнул ее от себя и зашагал оцепенело в комнату, там посмотрел на человека – тот отвернулся и подка-

тился к стене; одна его рука раз за разом ударяла по полу, и тут он снова закричал протяжно и жалобно. Лейла вошла за Ральфом в комнату и, стоя в дверях, внимательно прислушивалась.

– Иди ложись, – сказал ей Ральф. – Ему всего-навсего снится сон.

Ее лицо было печально, она прошла вглубь комнаты и добавила:

– Он боится. Он страшно несчастлив. – Она села на корточки рядом со спящим и попыталась заглянуть ему в лицо. – Все будет хорошо, – сказала она ему. – Это не опасно.

Спящий человек перекатился, и его рука коснулась ее руки; внезапно он твердо схватил ее и крепко держал.

– Лейла! – разразился криком мальчик.

– Тихо! Не беспокойся! – прошептала она. – Он снова засыпает.

Человек на полу держал ее за руку, он больше не кричал и отвернулся.

– Видишь, – сказала она. – Я держу его за руку!

Мало-помалу его хватка ослабла, пальцы разжались.

Она встала и посмотрела на Ральфа, сделала неприметное движение, то было приказание. Она приподняла голову спящего и положила ее на подушку, придвинула ближе таз и накрыла спящего одеялом.

– И немного воды, – попросила Лейла.

Ральф отправился за стаканом воды и поставил его на пол.



Была почти половина пятого. Они лежали рядом на полу прихожей и прислушивались к тишине в чужом доме.

– Он боится, – объяснила Лейла. – Он ужасно боится.

Мальчик обнял ее.

– Разбуди меня пораньше, – сказал он. – Нам надо найти кофе.

*Перевод Л. Брауде*

# Черное на белом

Его жену звали Стелла, она была дизайнером. Стелла, его прекрасная звезда. Он не раз пытался нарисовать ее лицо, всегда спокойное, открытое и в то же время непроницаемое, но это ему не удавалось. Руки у нее были белые и сильные, украшений она не носила, работала быстро и уверенно.

Они жили в доме, построенном по ее проекту, – большие пространства, разделенные стеклом и некрашеным деревом. Тяжелые доски с красивым узором были тщательно подобраны и скреплены большими медными винтами. Ни одна лишняя деталь не закрывала структуру материала. По вечерам в комнатах зажигались низкие скрытые светильники, стеклянные стены отражали ночь, но держали ее на расстоянии. Пара выходила на террасу, сад освещался спрятанными в кустах прожекторами. Тьма уползала прочь, а они стояли рука об руку, лишённые теней, и он думал про себя: «Это само совершенство. Здесь просто невозможно что-нибудь изменить».

Стелла не была кокеткой. Разговаривая, она смотрела собеседнику прямо в лицо. Дом походил на нее: такие же широко раскрытые глаза. Иногда у него возникало неприятное ощущение, будто кто-то смотрит на них из темноты. Но сад был окружен стеной, а ворота закрыты. У них нередко бывало много гостей. Летними вечерами на деревьях зажигали

фонари, и дом Стеллы походил на раковину, освещенную в ночи. Веселые люди в ярких одеждах прогуливались, стояли группами по двое, по трое, одни в комнатах за стеклянными стенами, другие снаружи. Это было красивое театральное зрелище.

Он был художник, делал иллюстрации для журналов, иногда – обложки для книг.

Единственное, что беспокоило его, – легкая, но постоянная боль в спине, возможно, причиной тому была слишком низкая мебель. Перед открытым очагом лежала большая черная шкура, иногда ему хотелось лечь на нее, раскинув руки и ноги, и кататься по ней, как собака, чтобы дать спине отдохнуть. Но он этого не делал. Ведь стены были стеклянные, а собак в доме не было.

Большой стол возле очага был тоже из стекла. Он раскладывал на нем свои рисунки, прежде чем нести их заказчику, и показывал Стелле. Эти минуты для него значили очень много.

Стелла приходила и смотрела на его работы.

– Хорошо, – говорила она. – Линии у тебя совершенны. По-моему, не хватает лишь доминанты.

– Ты хочешь сказать, что это слишком серо? – спрашивал он.

А она отвечала:

– Да. Слишком мало белого, мало света.

Они стояли возле низкого стола, он отодвигался и разгля-

дывал свои рисунки на расстоянии, они в самом деле были слишком серыми.

– А мне кажется, что здесь не хватает черного, – возражал он. – Впрочем, на них нужно смотреть вблизи.

Потом он долго думал о черной доминанте. На душе у него было беспокойно, спина болела все сильнее.

Этот заказ он получил в ноябре. Он пришел к жене и сказал:

– Стелла, мне дали интересную работу.

Он был рад, почти взволнован. Стелла отложила перо и посмотрела на него, она никогда не раздражалась, если ее отвлекали во время работы.

– Это антология страха, – объяснил он. – Пятнадцать черно-белых рисунков с виньетками. Я знаю, что справлюсь, мне это подходит. Это в моем стиле, не правда ли?

– Совершенно верно, – отвечала жена. – Работа срочная?

– Срочная! – засмеялся он. – Это не пустяк, а серьезная работа. Каждый рисунок на целую страницу. Это займет пару месяцев.

Он уперся руками в стол и наклонился вперед.

– Стелла, – сказал он серьезно, – в этот раз доминанта будет черной. Я хочу передать темноту. Понимаешь, серое передает лишь ощущение затаенного дыхания, предчувствие страха, ожидание его.

Она улыбнулась и ответила:

– Как приятно, что эта работа тебя радует.

Он взял тексты, лег в кровать и прочел три рассказа, только три. Ему хотелось работать с уверенностью, что самый интересный материал впереди, сохранять это чувство ожидания как можно дольше. Третий рассказ дал ему толчок, он сел за стол и начал резать картон – толстые, белые как мел листы с рельефным гарантийным штампом в углу. В доме стояла тишина, гостей они не приглашали. Ему было трудно привыкнуть к этому толстому картону, он никак не мог забыть, как дорого он заплатил за него. Рисунки на дешевой бумаге выходили у него свободнее и лучше. Теперь же он восхищался благородной поверхностью картона, по которому перо с тушью выводило чистые линии, и все же бумага оказывала перу незаметное сопротивление, мешающее этим линиям оживать.

Дело было днем, он опустил шторы, зажег лампу и углубился в работу.

Они ужинали вместе, он ел молча. Стелла ни о чем не спрашивала. Под конец он сказал:

– Ничего не получается. Здесь слишком светло.

– Почему же ты не опустил шторы?

– Опустил, – ответил он. – Все равно недостаточно темно.

Вокруг все серое, а не черное!

Он подождал, пока кухарка уйдет.

– Здесь даже нет дверей! – воскликнул он. – Нельзя за-

крыть за собой дверь!

Стелла перестала есть и посмотрела на него.

– Ты хочешь сказать, что здесь у тебя ничего не получится? – спросила она.

– Да, не получится. Выйдет лишь нечто серое.

– Тогда тебе, по-моему, нужно поменять обстановку, – решила жена.

Они продолжали есть, напряженное состояние исчезло. За кофе она сказала:

– Вилла моей тетки стоит пустая. Но мансарда, кажется, меблирована. Может, попробовать поработать там?

Она позвонила Янссону и попросила его принести в мансарду калорифер. Фру Янссон обещала ставить каждый день на лестнице кастрюльки с едой и прибираться в комнате, впрочем, он бы и сам мог наводить там порядок и прихватить с собой электроплитку. В общем, вопрос решился за несколько минут.

Когда из-за угла показался автобус, он с серьезным видом сказал Стелле:

– Я проживу там лишь пару недель, а потом буду работать дома. Постараюсь сосредоточиться. Ведь ты понимаешь, писем я писать не буду, только работать.

– Разумеется, – ответила жена. – Береги себя. Если тебе что-нибудь понадобится, позвони мне из магазина.

Они поцеловались, и он поднялся в автобус. Дело было к

вечеру, падал снег. Стелла не махала ему, но стояла, пока автобус не исчез за деревьями. Тогда она закрыла калитку и пошла к дому.

Он узнал автобусную остановку и живую изгородь, которая стала высокая и какая-то серая. Он удивился, что холм такой крутой. Поднимавшаяся вверх дорога, обсаженная по обочинам густыми кустами с увядшей листвой, была изрезана желобками, по которым песок и мелкие камешки стекали вниз с потоками дождя. Вилла стояла прицепившись к вершине холма под каким-то немыслимым углом. Казалось, что изгородям, пристройкам, елям и всему прочему стоило огромных усилий удержаться в вертикальном положении. Он остановился перед лестницей и поглядел на фасад. Дом был очень высокий и узкий, окна походили на бойницы. Снег стоял, в тишине слышалось лишь журчанье воды, стекавшей по склону между елями. Он обошел вокруг виллы. Со стороны двора был выстроен лишь один этаж, кухонный, он почти вплотную упирался в холм, его отделяла только огромная куча хвороста. Здесь, в тени елей, было свалено все, что старый дом выплюнул за всю свою жизнь, вещи, отслужившие свою службу и ненужные, которым было не место на виду. В сгущающихся зимних сумерках этот пейзаж казался всеми забытым, не имеющим значения ни для кого, кроме него самого. Ему он показался красивым. Он неторопливо вошел в дом, поднялся в мансарду и запер за собой дверь.

Возле кровати горел красный квадрат – Янссон успел поставить калорифер. Он встал у окна и окинул взглядом склон холма. Ему показалось, что дом, устав цепляться за холм, наклонился вниз, вперед. С большой любовью и восхищением он подумал о жене, которая так легко все устроила и дала ему возможность поменять обстановку. Он почувствовал, что темнота близится к нему.

После длинной ночи без сновидений он приступил к работе. Он обмакнул перо в тушь и начал спокойно рисовать маленькими, частыми, точными линиями. Теперь он знал, что серое – лишь терпеливые сумерки, предвестники ночи. Он умел ждать. Он больше не делал иллюстраций, просто рисовал, чтобы рисовать.

В сумерках он подошел к окну и увидел, что дом еще сильнее наклонился вперед. Он написал письмо: «Дорогая Стелла, я сделал первую страницу, кажется, мне она удалась. Здесь тепло и очень тихо. Янссоны привели комнату в порядок и вечером поставили на лестнице еду – баранину с капустой и молоко. Я варю кофе на электроплитке. Не волнуйся за меня, я прекрасно со всем справляюсь. Как бы то ни было, я прав, что доминировать должно черное. Я много думаю о тебе».

Вечером, когда стемнело, он пошел в магазин и опустил письмо в почтовый ящик. Когда он вернулся в дом, поднялся ветер, зашумел в ветвях сосен. Было по-прежнему тепло,



стаявший снег стекал вниз по ложбинкам, увлекая за собой песок и щебень. Он решил, что писать нужно по-другому.

Все дни были спокойны, и он работал без передышки. Маргиналии он делал нечеткими, а рисунок начинался в виде неопределенной серой тени и затем сгущался в поисках темноты.

Он прочел антологию и нашел ее банальной. Чувство страха вызывал лишь один рассказ, где действие происходило среди белого дня в обычной комнате, остальные рассказы давали ему возможность изображать ночь или сумерки. В виньетках он мастерски, но без интереса рисовал фигуры и прочие детали, которые могли бы понравиться автору и читателям. Но непременно снова и снова возвращался к страницам, где пытался запечатлеть темноту. Спина у него не болела.

«Меня больше всего интересует недосказанное, – думал он. – Я рисовал слишком понятно, нельзя объяснять все на свете». Он написал Стелле: «Знаешь, я начинаю думать, что слишком долго делал иллюстрации. Теперь я хочу создать что-то новое, свое собственное. Намек гораздо важнее подробно высказанного. Я вижу свои образы на бумаге как кусок реальности или нечто нереальное, вырванное наугад из некоего нескончаемого и непостижимого процесса, темнота, которую я рисую, длится бесконечно. Она изрезана узкими и опасными лучами света... Стелла, я не хочу больше делать

иллюстрации. Я создаю свои собственные образы, не связанные ни с каким текстом. Кто-нибудь сумеет дать им объяснение. Каждый раз, закончив рисунок, я подхожу к окну и думаю о тебе. Любящий тебя муж». Он пошел к магазину и отправил письмо. На обратном пути он встретил Янссона, и тот спросил его, много ли воды в подвале.

– Я не был в подвале, – ответил он.

– Надо бы поглядеть, уж больно дождливая нынче погода.

Он открыл дверь в подвал и зажег верхний свет. Электрическая лампочка отражалась в неподвижной воде, блестящей и черной, как нефть. Подвальная лестница спускалась к воде и исчезала в ней. Он стоял неподвижно и смотрел. Углубления стены, там, где отвалилась штукатурка, были заполнены глубокой тенью, куски камня и цемента были скрыты под водой, точно плавающие звери. Ему казалось, будто они шевелились, уползали туда, где подвал уходил глубже под дом. «Я должен нарисовать этот дом, – подумал он. – Как можно скорее, пока он еще стоит».

Он нарисовал подвал. Нарисовал задний двор: хаос причудливо нагроможденных предметов, выброшенных, никому не нужных, нагромождение непонятных, черных как уголь предметов на белом снегу. Получился образ спокойного и печального беспорядка. Он нарисовал гостиную и веранду. Никогда еще он не ощущал такой бодрости. Сон был глубок и ясен, как в детстве, просыпался он мгновенно, не ощущая тревожного, наполовину бессознательного переходного

состояния, нарушающего покой и отравляющего его. Иногда он спал днем, а работал ночью. Он жил в напряженном ожидании. Из-под его пера выходил один рисунок за другим, их было уже больше пятнадцати. Столько и не требовалось. Визиток он уже не делал.

«Стелла, я нарисовал гостиную, это усталая, старая комната, совершенно пустая. Я не изобразил ничего, кроме стен и пола, истертого плюшевого ковра, бордюра на стене с бесчисленными повторениями одного и того же рисунка. Это образ шагов, звучавших здесь некогда, теней, падающих на стены, слов, оставшихся здесь, а может быть, молчания. Видишь ли, ничто не исчезает, и я стремлюсь это запечатлеть. И каждый раз, закончив рисунок, я подхожу к окну и думаю о тебе.

Стелла, думала ли ты когда-нибудь о том, как обои отстают от стены, разрываются и распаиваются? И это происходит по определенному строгому закону. Тот, кто не ощущал, не пережил сам пустоту и заброшенность, не сможет передать ее. Ненужное, отслужившее свой срок таит в себе невероятную красоту.

Стелла, можешь ли ты понять, что чувствует человек, видевший всю свою жизнь лишь нечто серое и осторожное, вечно пытавшийся сделать что-нибудь значительное, не познавший ничего, кроме усталости, и вдруг осознавший нечто с предельной ясностью? Что ты делаешь сейчас? Ты работаешь? Тебе весело? А может быть, ты устала?»

«Да, — подумал он. — Она целый день работала и немного устала. Она ходит по дому, а вот она раздевается на ночь. Она гасит лампы одну за другой, она белая, как чистый лист бумаги, белая на этом вызывающе невинном, пустом фоне. И вот сейчас светится лишь она одна, Стелла, моя звезда».

Он был почти уверен, что дом продолжает наклоняться вперед. Глядя в окно, он мог видеть лишь четыре нижние ступеньки. Он воткнул в снег палочки, чтобы замерить, как изменяется угол наклона дома. Вода в подвале не поднималась. Впрочем, это не имело никакого значения. Он нарисовал подвал и фасад, а сейчас изображал рваные обои в гостиной. Письма ему не приходили. Иногда он и сам не знал, какие письма отправил жене, а какие писал лишь в мыслях. Она была теперь где-то далеко, прекрасный легкий набросок женского портрета. Иногда она легко двигалась, прохладная, обнаженная, в большом зале с белыми деревянными стенами. Ему никак не удавалось представить себе ее глаза.

Прошло много дней и ночей, много недель. Он все время работал. Когда рисунок был готов, он откладывал его и забывал о нем, тут же принимался за новый. Новый белый бумажный лист, пустая белая поверхность, новый вызов, снова безграничные возможности и полная изолированность от помощи извне. Каждый раз перед тем, как начать работу, он проверял, все ли двери в доме заперты. Начались дожди, но дождь ему не мешал. Его ничто не тревожило, кроме десято-

го рассказа в антологии. Он все чаще думал об этом рассказе, в котором автор изображает орудием страха дневной свет и против всех правил помещает его в обыкновенную красивую комнату. Он подходил все ближе и ближе к десятому рассказу и под конец решил изобразить страх и тем самым убить его. Он взял новый лист белой бумаги и положил его на стол. Он знал, что должен сделать рисунок к этому единственному рассказу в антологии, действительно наполненному страхом, и был уверен, что проиллюстрировать его можно лишь одним способом. Это была комната Стеллы, великолепная комната, в которой они жили вдвоем. Он несколько удивился этому, но уверенность его не поколебалась. Он прошелся по комнате, зажег лампы, все до единой. Окна открыли глаза на освещенную террасу. Красивые незнакомые люди медленно двигались группами по двое, по трое, он изобразил их всех мастерскими серыми штрихами. Он нарисовал комнату, пугающую комнату без дверей, которую просто распирало от напряженной атмосферы, белые стены испещряли незаметные затененные трещинки, они ползли дальше и все больше расширялись. Он видел, что огромные оконные стекла готовы лопнуть от давления изнутри, и, торопясь изо всех сил, начал рисовать их и вдруг увидел пропасть, разверзшуюся перед ним в полу, она была черная. Он работал все быстрее и быстрее, но не успело его перо достичь этой черноты, как стены комнаты наклонились и рухнули вниз.

*Перевод Н. Беляковой*

## Письмо идолу

Это было ранней весной. Иногда по вечерам она стояла и смотрела на его окна с синими шторами, за которыми горел неяркий свет. Даже если окно было темным, она продолжала стоять и смотреть. Она ни на что не надеялась, она просто преклонялась перед ним. Безликая пустынность улицы, холод и долгий путь домой ее не смущали. Он никогда ее не видел. Она клеивала в синий альбом все газетные рецензии о его книгах и плакала, если они не были хвалебными. Фотографии на них часто были неотчетливыми и вовсе не льстили ему. Все его книги были о любви. Он писал, не принимая во внимание то, что времена изменились, и она гордилась этим. Он знал, что сокровенный смысл и привилегия любви – тоска, робость и мечта, а также терпение, умение ждать и прощать. Он издавал по книге каждый год, у нее были они все, даже его ранние юношеские произведения.

Она никогда не писала ему. Это давало ей тайное преимущество – возможность продолжать любить мечтательно, упорно, все более зрело. Ее действия не были рассчитаны на жалкую надежду быть замеченной, иногда она открывала телефонную книгу и смотрела на его номер, пока глаза ее не наполнялись слезами; она черпала силы в себе самой, в молчаливом терпении, составляющем достоинство и гордость женщины. Но она уже давно не была женщиной.

Когда начал таять снег, он издал свою лучшую книгу, но критики обошлись с ним жестоко. Статьи об этой книге были настолько ужасны, что она не могла наклеить их в альбом, она сжигала их и плакала. Это случилось в начале апреля, в последующие недели отношения между ними несколько изменились. Неспешно, все тщательно обдумав, она твердо решила, что он нуждается в ней. Она понимала его, она жила по сценарию его книг, все, что он говорил, было эхом ее собственных чувств, настолько согласным, словно они перекликались друг с другом. Она написала ему. Письмо получилось бесстрастным, почти без эпитетов, она сообщила ему, что считает критику его книги несправедливой, сдержанно и довольно неумело она объяснила, что его книги значат для нее, и с женской мудростью, не свойственной ее возрасту, адреса своего не сообщила. «Он получает тысячи писем, – решила она, с гордостью за себя и за него, – я не хочу быть одним из адресатов, ждущих ответа. Хочу быть незнакомкой, о которой он невольно будет думать».

Отправив письмо, она почувствовала огромное облегчение, ей захотелось бегать, прыгать. Она стала бегать по парку, носилась от дерева к дереву – там, где ее никто не мог видеть, потопталась на мокром снегу у канавки и сунула руки в песок.

Много дней она почти не думала о нем и ни разу не пошла поглядеть на его окно. Для нее это было все равно что изменить ему в чем-то, и под конец она начала перечитывать

одну за другой его книги в том порядке, как они выходили, словно доказывая ему свою верность. Во всех этих книгах – мужчина и женщина, они с робким обожанием приближались друг к другу сквозь сотни страниц, но их окончательное сближение так ни разу и не было описано.

Однажды ночью она проснулась, в страхе затаив дыхание, понимая, что ждала слишком долго, что он забыл ее. Она встала, чтобы написать еще одно письмо, в котором умоляла его продолжать творить, несмотря ни на что. «Не придавайте значения их пасквилям, – писала она, – они равным счетом ничего не понимают. Не понимают, что именно теперь, когда любовь так дешева, доступна и лишена тайны, защищать чистое и высокое – мужественный поступок и кто-то должен совершить его». Она попыталась объяснить: то, что для других было всего лишь анатомией, он превратил в храм, но у нее это получилось неуклюже, она зачеркнула фразу и начала писать заново. Внизу маленькими буквами приписала свой адрес. Она побежала к почтовому ящику на углу, постояла, глядя на него. Крышка ящика была полуоткрыта, словно готовый укусить рот. Помедлив, она затем быстро опустила письмо, и крышка с шумом захлопнулась. И в ту же секунду она честно и без отчаяния поняла, что пути назад нет и что ее, скорее всего, ждет разочарование.

Он сразу же ответил ей. Не дал ей времени подготовиться, ждать. Да, на коврике в прихожей лежало письмо от него.



Она представляла себе, что, если он ответит, если в самом деле найдет время, если будет к этому расположен или решит поставить точку в своем произведении и напишет ей, она пойдет с этим письмом в какое-нибудь красивое место, например к морю, и откроет его там. Но вместо этого она торопливо вскрыла конверт прямо в прихожей и прочла целую страницу, написанную от руки, залпом, затаив дыхание. Он проявил себя рыцарем. Он писал письма так же, как книги. Не считая за труд ответить ей, он, обращаясь именно к ней, заверял ее, что всегда будет смотреть на женщину как на нечто прекрасное и чистое.

Мир вокруг нее незаметно, но целиком и полностью изменился. Она даже ходила теперь как-то по-другому, неторопливо, рассеянно и пристально смотрела на себя в зеркала и стекла витрин, погружаясь в свою женственность, ни на что не рассчитывая, ничего не ожидая. «Какое важное событие, – с благодарностью думала она, – сколько перемен! Я не успела долго страдать». Работа сейчас мало значила для нее, она выполняла ее автоматически, словно в полусне. Ей приходили на ум изящные старинные слова, ей доставляло удовольствие делать красивые движения или просто сидеть молча, сложив руки на коленях. Это было счастливое медленное время, он снова дал ей возможность жить, наслаждаясь каждой минутой. Она не стала отвечать ему сразу, ей доставляло удовольствие отдалять желаемое. Она знала, что у ног ее лежит роза, но не торопилась поднять ее.

Наступило время дождей, долгих весенних дождей, смешанных со снегом. Лед на море тронулся. И наконец, однажды ночью, она написала ему, очень торопливо и лучше, чем писала когда-либо в своей жизни.

Он не ответил. Время шло, а он все не отвечал, нетрудно отличить молчание ожидания от молчания, предвещающего конец.

Лишь только теперь, испытывая жестокое разочарование, не дающее ей даже утешения в скорби, она, казалось, поняла, на что прежде надеялась. Он написал ей только потому, что ему было тяжело, когда он не мог работать, когда сомневался в себе и был одинок. Это могла бы быть долгая переписка, обмен прекрасными письмами, прелесть и смысл которых приобретали особое значение, оттого что они никогда не встретятся, ни одного раза до самой смерти. Во все времена существовала такая переписка между человеком искусства и женщиной, драгоценные, вдохновляющие письма представляли потомкам художника и его творения в совершенно новом свете. А возможно, и женщину, писавшую ему.

Она все разрушила. Сознать это ей было невыносимо. Она села в такси, избежала по лестнице и нажала звонок его двери. Было восемь вечера. Она забыла привести себя в порядок, не думая ни о чем, вошла и с серьезным видом сказала:

— Это я писала вам.

Ее серьезность была почти вызывающей и придавала ей

новое, какое-то особое достоинство. Она смотрела на него, и все расплывчатые газетные снимки смешались в одну кучу, быстро, как колода карт, он больше не походил на писателя.

– Весьма любезно с вашей стороны навестить меня, – сказал он, и она подала ему свое пальто.

Комната была большая. Синие шторы занавешивали окна от стены до стены и падали на темно-красный пол. Все цвета были глубокие и сдержанные, низко висящие лампы излучали мягкий свет, при котором лица становятся красивее. Комната была безликая, с претензией на высокопарную роскошь и уединенность. Единственной вещью, которая не вписывалась в общую обстановку, была большая пятнистая леопардовая шкура. Пасть зверя была широко раскрыта, словно ему не хватало воздуха. Обойдя шкуру, она подошла к дивану.

– Хотите выпить что-нибудь? – спросил он.

Она села и ответила:

– Спасибо.

Диван был намного ниже, чем она рассчитывала. Она чуть не потеряла равновесие, почувствовала себя смешной и на секунду утратила свое достоинство – небольшое и весьма ранимое достоинство, которое только что было присуще ей. Она хихикнула и начала рыться в своей сумочке. Не спросив, что она будет пить, он смешал для нее вермут со льдом, а себе налил лимонный сок.

Мысли ускользали от нее, кусочки льда бряцали в стакане,

она медленно потряхивала его, подбирая слова. Наконец она сказала то, о чем уже писала ему:

– Ваша последняя книга – лучшая из всех написанных вами.

Он ответил, что его радуют ее слова. Горло у нее снова сжалось, она стала трясти стакан с кусочками льда и с усилием сказала:

– Есть вещи, к которым можно подходить по-разному. Например, к чистоте чувств, к самому главному. Я хочу сказать: что бы ни случилось, какие бы ни были времена, если даже наступит полная свобода и можно будет говорить и показывать все на свете, я не сторонница таких новшеств. Это безобразно. И слова всегда имеют большое значение.

– Вы правы, – согласился он. – Слова имеют большое значение.

Он слушал ее очень внимательно. По правде говоря, глаза у него были ужасно маленькие, но ресницы очень черные. Она торопливо продолжала:

– То, что вы описываете в своих книгах, почти полностью исчезло. Это было в иную эпоху! А сейчас заболтали то хрупкое и нежное, что не терпит пустой болтовни, не правда ли?

Он задумчиво смотрел на нее, а она с горячностью добавила:

– Я хочу сказать, что это вызывает лишь обратное! Пропадает всякое желание, а жаль, не правда ли?

– Интересный ход мыслей, – медленно и отстраненно ска-

зал он.

Он поднялся и спросил, не хочет ли она послушать музыку.

– Спасибо, хочу, – безразлично ответила она.

На вопрос, какую музыку, она ответила:

– Любую.

– Что ж, у меня есть всякая. Скажите, что вы предпочитаете. Выбирайте.

В этот момент ей ничего не приходило на ум, кроме Бетховена и «Битлз», и она ответила:

– Выбирайте сами. Так же, как выбрали, что мне пить.

Прозрачная, очень холодная и мягкая музыка, задумчивая и равнодушная, наполнила комнату. Она решила больше ничего не говорить, и лицо ее сразу изменилось, как-то сжалось, в нем появилось что-то детское. Ей больше не хотелось ублажать его.

– Вы обиделись на меня? – спросил он. – Действительно было глупо с моей стороны предложить вам вермут. Быть может, вы предпочитаете виски или коньяк? Или еще что-нибудь?

– Нет-нет, ни в коем случае! – торопливо ответила она, задыхаясь от смущения и раскаяния.

«Почему он говорит не так, как пишет? – промелькнуло у нее в голове. – Он любезен, но это холодная, ничего не значащая любезность. Так утешают того, с кем вовсе не считаются, кто вел себя скверно или еще не вышел из детского

возраста».

– Эта шкура из Африки? – спросила она.

– Кажется, из Индии, – ответил он.

«Вот он снова отдалился. С писателем не болтают о том о сем. С ним говорят о значительном, а я думаю только о себе, вовсе не о нем».

Они оба начали говорить разом, потом оба замолчали и поглядели друг на друга.

– Извините, – сказал он, – вы что-то хотели сказать?..

– Нет, ничего особенного.

– Продолжайте, прошу вас...

– Я просто подумала, что делает человек, что делает писатель, если его не поняли, если у него скверно на душе и он не может писать? Должно быть, ужасно читать злые статьи. И много ли найдется людей, которые понимают, каково это и как важно не...

Его лицо помрачнело, и она смущенно замолчала, ее на мгновение охватил непонятный стыд, и музыка вдруг тоже умолкла.

Напряжение достигло предела, но тут писатель протянул руку, на мгновение коснулся ее руки и уважительно спросил, какие из его книг она читала. Она сделала долгий глубокий вдох, посмотрела ему в глаза с мрачным обожанием и ответила:

– Все. Все книги, которые вы написали. Они стоят на отдельной полке, их нельзя смешивать с обычными книгами.

Я живу по ним, хотя это нелегко. Я верю в них. Я ваша ученица и последовательница.

Это странное и высокопарное слово «последовательница» соединило их так же явно и призывно, как молчание после его чужой и холодной музыки. «Мне не надо больше ничего говорить, – подумала она, – я сказала нужные слова, они ему понравились».

Наконец он стал говорить так же, как умел писать, и слова его были обращены именно к ней.

– Мой дорогой друг, – сказал он.

И эти драгоценные слова замерли, ожили и наполнили комнату. Продолжать разговор было уже невозможно, атмосфера была слишком наэлектризована. Они одновременно поднялись и услышали, как кто-то открывает дверь и входит в прихожую. Он тихо и поспешно сказал:

– Вы моя защитница, я не забуду вас.

Осторожно взяв свою гостью за локоть, он проводил ее в прихожую, подал ей пальто и открыл дверь. Она не разглядела того, кто вошел в квартиру, это был кто-то грузный и высокий, она заметила только его ботинки. Вот она оказалась уже на лестнице, потом на улице. Ночь была светлая и совсем теплая. Она шла по улицам и думала: «Мой друг. Моя защитница, я не забуду вас». Этими словами все сказано, о чем еще можно было говорить! И она совершенно искренне решила, что все прекрасно. Она пришла домой, легла в постель и спала всю ночь так спокойно, как спят после успешно

законченной тяжелой работы.

Наступило воскресное утро. Она долго лежала в постели, вызывая в памяти каждую фразу и молчание после нее, движения, краски, освещение, холодную музыку... Но все слилось и стало уплывать прочь дальше и дальше, такое же нереальное, как и в его прекрасных книгах. Она свернулась калачиком, ласково обхватив руками плечи, и снова уснула, полная спокойного счастья и ожидания.

*Перевод Н. Беляковой*



# Любовная история

Он был художник, но в конце концов выставки ему надоели, они приводили его в уныние. Однако сейчас, войдя в маленькую проходную комнату биеннале, он резко остановился, словно внезапно пробудившись ото сна, и замер в немом восхищении перед почти натуралистической мраморной скульптурой в виде женского зада. Это была красивая работа из розового мрамора; изображенная часть тела начиналась чуть выше колен, как и классический торс, и заканчивалась над пупком. Скульптор поставил задачу передать лишь этот великолепный, совершенный зад. Без сомнения, ему знакома была Венера Каллипига<sup>4</sup>, Венера с прекрасным задом, приподнимающая свои одеяния и любующаяся самой красивой частью своего тела. Но тут был изображен лишь один зад без всяких реквизитов, округлый фрукт из розового мрамора, плод любви и восхищения мастера был прекрасен сам по себе.

Скульптура стояла на черном цоколе примерно метровой высоты, серые стены маленькой проходной комнаты освещались светом, падавшим из окна, выходящего на север. Стена напротив окна, единственное место для размещения экспозиций, была занята полотном, похожим на кусок коричнево-

---

<sup>4</sup> Венера Каллипига, или Венера Прекраснозадая (греч.) – название одной из античных мраморных статуй Венеры, найденной в Риме.

го обгорелого пластика, так что скульптуре ничто не мешало. На темном фоне, освещенная прохладным дневным светом, она казалась жемчужиной, отливающей розовым блеском, свет обволакивал и оттенял мрамор. Художнику этот прекрасный зад казался самым чувственным и почтенным символом женщины из всех, какие ему довелось видеть. Посетители иногда проходили через эту комнату, не останавливаясь, а художник стоял, погруженный в глубокую задумчивость, наконец-то околдованный произведением искусства. Ему всегда хотелось испытать это ощущение.

У этого зода были довольно пышные и в то же время сдержанно-строгие формы, половинки прилегали друг к другу, как закругляющийся у ложбинки персик, линии изгиба бедер были легкими и плавными, легкие тени ложились на них, как на щеки юной девы. Несмотря на явную чувственную радость, которую скульптор выразил в этой работе, в ней ощущалась какая-то удивительная недосыгаемость. Этот зад мог бы служить символом вечности.

Художник не дотрагивался до мраморного изваяния. Он просто стоял и смотрел, как менялись ложившиеся на скульптуру тени, ему казалось, будто эта женщина незаметно двигалась, поворачиваясь к нему.

Внезапно художник вышел из комнаты, он решил узнать цену этого экспоната.

Ему сказали, что автор скульптуры – венгр и что работа эта очень дорогая.

У человека редко возникает безраздельное и всепоглощающее желание, заставляющее забыть все на свете, превозмогающее все остальное. Художник желал во что бы то ни стало завладеть этим мраморным задом и увезти его в Финляндию.

Он вернулся в гостиницу. Это была маленькая гостиница в одном из переулков возле площади Святого Марка. После ослепительного дневного света лестница показалась ему совсем темной, он поднимался медленно, думая о том, что сказать Айне. Было очень жарко, и Айна лежала на кровати нагишом.

– Ну и что ты там видел? – спросила она.

– Ничего особенного. Ты выходила на улицу?

Она протянула руку к столу и показала ему пригоршню украшений – раковин и блестящих разноцветных стекляшек, сказав, что они достались ей почти даром.

– Почти даром! – повторила она.

Айна разложила бусы на животе и игриво засмеялась.

Он посмотрел на нее огорченно.

– Но ведь они дешевые, – заверила его она. – Ты знаешь, я зря денег не трачу!

Она подошла к нему, и он, как всегда, обнял ее, коснулся руками ее теплого зада, не смея ни слова сказать про скульптуру из розового мрамора.

Когда вечером стало прохладнее, они вышли прогуляться, направились, как всегда, к площади Святого Марка. Айна повторяла то, что слышала от него в первые дни их пре-

бывания здесь, она говорила о старинном золоте, патине на мраморе, о том, как венецианцы дерзнули всю эту красоту построить. Потом она повернулась к нему и в свойственной ей одной манере сказала:

– Как сильно, должно быть, они любили то, что говорили, и как сильно любили друг друга! Иначе как могло бы все это появиться?

Он поцеловал ее, и они двинулись дальше. Зашли в свой любимый дешевый ресторанчик, заказали спагетти и красное вино. Здесь сидели несколько туристов, но все же это был настоящий итальянский кабачок. Синева за окном быстро сгущалась.

– Ты счастлив? – спросила Айна, и он откровенно ответил, что счастлив.

Он не смешивал благодарность за то, что имел, с тем, что хотел иметь. Для самых смелых желаний в его сердце была особая ниша. Но все это время, когда они проходили по узеньким улочкам, когда ели, говорили и смотрели друг на друга, – словом, весь вечер он складывал цифры, подсчитывая расходы, понимая, что они не смогут увидеть все намеченные города. Если он купит этот красивый зад, им придется тут же возвращаться домой.

– О чем ты думаешь? – спросила Айна.

– Да, собственно, ни о чем, – ответил он.

Они вышли из ресторанчика и побрели по тем же самым переулкам и мостам; улочки были кривые, и, блуждая по

этим лабиринтам, они не раз возвращались к одному и тому же месту, не зная толком, куда попали.

– Смотри, дворцы отражаются в канале! – воскликнула слегка захмелевшая Айна. – Погляди на зеленые водоросли, поднимающиеся из глубины, они гниют. Вон тот дворец медленно-медленно опускается в воду, ряды окон один за другим потихоньку тонут. Ты любишь меня?

– Люблю, – ответил он.

– Но ты все время о чем-то думаешь.

– Да, думаю.

Она остановилась на мосту, чтобы рассмотреть, но ей было трудно сосредоточиться.

– Скажи, что тебя тревожит? – медленно и преувеличенно торжественно спросила она его.

Вид у нее был довольно комичный: туфли на высоких каблуках, икры ног неестественно напряжены, коленки торчат, на шее туристские побрякушки, на лбу локончики штопором, закрученные на шпильках, в руке маленькая смешная сумочка. Он просто онемел, глядя на ее ошеломляющую женственность. По мосту мимо них в теплой темноте проходили люди. «Самое удивительное, – рассеянно подумал он, – что здесь нет никакого транспорта. Все ходят пешком, слышен лишь стук шагов».

– Айна, – сказал он, – я думаю о скульптуре, которую видел на биеннале. Это вещь из мрамора, мне хочется купить ее. Иметь ее. Ясно тебе? Увезти ее домой. Но стоит она до-

рого.

– Ты хочешь купить скульптуру? – ошеломленно спросила Айна. – Но разве это возможно?

– Она красивая, – сердито ответил он, – прекрасная работа.

– Господи боже мой! – воскликнула Айна и начала спускаться по ступенькам.

– Она стоит очень дорого, – с горячностью повторил он, – пришлось бы потратить всю стипендию! Если я куплю ее, нам придется возвращаться домой.

Они минули несколько запертых дворцов, выраставших из воды. Мимо них проплывали гондолы с зажженными фонарями. Взошла яркая луна. Ощущение печальной, щемящей душу красоты смешалось с любовью к художнику, и она вдруг сказала, как нечто само собой разумеющееся:

– Раз уж тебе так ужасно хочется купить эту скульптуру, возьми и купи ее! Ведь иначе ты все время будешь думать о ней.

Айна остановилась, ожидая выражения благодарности, и, когда он обнял ее, закрыла глаза и подумала: «До чего же легко любить!»

– И что представляет собой эта скульптура? – прошептала она.

– Торс.

– Торс?

– Да, собственно говоря, только один зад. Из розового

мрамора.

Она высвободилась из его объятий и повторила:

– Зад? Один зад, и больше ничего?

– Ты должна увидеть эту вещь, – объяснил он. – Иначе тебе меня не понять.

Он притянул ее к себе и попытался удержать, продолжая рассказывать, подыскивая нужные слова, но она не захотела слушать.

Они направились в гостиницу. Подошли к площади, потом к своей улице. Луна ярко светила, но легче им от этого не было. «Какая банальная история: я знаю, что она сделает. Она разденется за ширмой и попытается к кровати так, чтобы я не смог увидеть ее зад. Как все это глупо».

Они вошли в гостиничный номер. По вечерам они обычно не включали электричество: красноватый полусвет, проникавший с пьяцы в переулок и наполнявший их комнату, был так красив. Внизу по переулку ходили люди и напевали: «Belissima, bellissima...»<sup>5</sup>

– Послушай, – сказал он, – это не туристы, а местные. Они не возвращаются с какого-то праздника. Им просто хочется петь...

Ему хотелось, чтобы ей понравились эти слова, для того он их и сказал. Но она ответила только:

– Да.

«Плохо дело, – подумал он, – худо будет, если я сейчас

---

<sup>5</sup> «Прекраснейшая, прекраснейшая...» (ит.)

обниму ее в постели, а если не обниму, будет еще хуже. Я не могу сказать ей, что хочу купить скульптуру. Вообще ничего не могу».

Художнику все надоело, он сел на край кровати, он ужасно устал. Айна молча быстро разделась за ширмой. Потом она начала ходить по комнате, что-то делала, с чем-то возилась и наконец подошла к нему с двумя рюмками вина. На ней был пеньюар. Она дала ему одну рюмку, села напротив него на пол и сказала серьезно, почти строго:

– Я придумала.

– В самом деле? – ласково спросил он с облегчением.

Она наклонилась вперед и пристально посмотрела на него, сдвинув брови.

– Мы украдем ее, – заявила она. – Попробуемся туда и просто-напросто украдем ее. Я не побоюсь.

Он взглянул на ее лицо, на которое падал свет с пьядцы, и понял, что она говорит серьезно. На мгновение он задумался, а потом спросил:

– Ты думаешь, мы сумеем это сделать?

– Ясное дело, сумеем! – воскликнула она. – Мы справимся с чем угодно. Ведь она стоит на первом этаже, я знаю. И окно выходит в парк. Мы вырежем стекло алмазом. Надо купить бриллиант, малюсенький. Ты сможешь унести скульптуру или придется раздобыть тележку?

– Прекрасно! – обрадовался художник.

Он встал с кровати, подошел к окну и стал прислушивать-



ся к шагам на улице. Ему вдруг захотелось рассмеяться, выбежать на улицу и отправиться среди ночи вместе со своей любимой куда глаза глядят. Он повернулся к Айне и с серьезным видом сказал:

– Думаю, нам не следует этого делать. Мы должны отказаться от этой затеи. Подумай о скульпторе. Этот венгр даже не будет знать, что его работа находится в нашей мастерской, в Финляндии. К тому же ему, быть может, нужны деньги!

– Правда, – согласилась Айна. – Жаль его.

Она положила пеньюар на стул и легла в кровать. Они лежали рядом, и она спросила:

– О чем ты думаешь?

– О скульптуре, – ответил он.

– Я тоже думаю о ней, – сказала Айна. – Завтра мы пойдем и вместе поглядим на нее.

*Перевод Н. Беляковой*

## Другой

В первый раз это случилось в молочной, пока он стоял, не спуская глаз с вереницы булочек к кофе под стеклом прилавка, – стоял, совершенно не заинтересованный этой здешней выпечкой и только чтобы не смотреть на продавщицу. Внезапно и с подленькой остротой узрел он себя самого, но отнюдь не в зеркале, он и вправду встал на миг рядом с самим собой и спокойно подумал: «Вот стоит тощий, боязливый, сутулый парень и покупает сыр, молоко и ветчину». Феномен этот продолжался всего секунду.

После этого он почувствовал неприятное волнение и по дороге домой раздумывал, не перенапряг ли глаза, работая над последним текстом, буквы были совсем маленькими. Он положил свои покупки между оконными рамами, где было холодно, и сел за стол, чтобы закончить работу, – он открыл готовальню и обмакнул в тушь самое тоненькое перо.

Тут это снова охватило его; сильно, с напряжением всех чувств он опять стоял рядом с самим собой и разглядывал парня, который выводил тонкие, аккуратные параллельные линии, парня, который ему не нравился, но который пробудил его интерес. На этот раз это длилось чуточку дольше, быть может секунд пять.

Он начал мерзнуть, но руки его не дрожали, и он закончил работу, стер резинкой грязь и положил картон в конверт.

Все время, пока он надписывал адрес и приклеивал почтовую марку, он был недалеко от того, чтобы снова ускользнуть от самого себя и встать рядом, наблюдая за человеком, который запаковывал бандероль совсем близко от него. Он надел пальто и шляпу, чтобы пойти на почту. Внизу, на улице, его охватила дрожь, и он крепко, до боли стиснул челюсти. На почте ничего не случилось. Он заполнил бланк и купил марки. Он решил прогуляться вдоль гавани, хотя было дождливо и довольно холодно... Ведь он – спокойный целеустремленный человек, совершающий недолгую прогулку, чтобы отвлечься, рассеяться и привести в порядок мысли. Существует феномен усталости, что абсолютно объяснимо, проходит, когда прекращаешь копаться в своей голове и пугать самого себя.

Он старался не смотреть на встречных. С моря дул ветер, товарные склады вдоль набережной были закрыты; он все шел и шел, пытаясь занять свои мысли чем-то, что было ему интересно. Ему не пришло в голову ничего иного, кроме букв и шрифтов. Он попытался уловить и сохранить малейшие обрывки своих хоть на что-то пригодных мыслей, но единственным, что в самом деле беспокоило его, была его работа. В конце концов он позволил своему беспокойному уму отдохнуть на спокойной гладкой поверхности букв, из которых складывался текст безупречной красоты, тут необходимы были дистанция и равновесие. Так уж обстоят дела с буквами, воздух между ними – самое главное. Он имел

обыкновение всегда обводит буквы тушью, начиная с нижнего угла – так ему удавалось не вникать в смысл слов.

Выйдя к мысу, он почувствовал себя спокойнее. Давным-давно, когда он еще был склонен к амбициозности и испытывал разочарование, кто-то сказал, что он не любит свои буквы и что это заметно. Это больно его задело. Текст, пусть даже с неловко начертанными, не обведенными тушью буквами, представлялся ему как нечто живое и значительное. Для него залогом успеха в работе служили деловитость и чистота. Текст способен так же достичь точной научной завершенности, как математика, ответ на этот вопрос может быть лишь одним-единственным.

Теперь ветер дул ему в спину. Он прошел мимо объявления у парома и мельком заметил, что буквы там топорны и уродливы. Его внимание внезапно рассеялось, и на миг возникло ощущение страха. Он попытался разглядывать шлюпки на набережной, железные кольца и швартовы, все равно что... Точь-в-точь как в первые минуты в чужой комнате ищешь тему для разговора, хоть что-то общее среди безразличных, безликих предметов обстановки. В конце концов он попытался думать о сегодняшней газете, о последних тревожных сообщениях, но перед глазами были лишь обрывки каких-то неудобочитаемых текстов с черными аляповатыми заголовками. Он побежал, и тогда это опять вернулось; он остановился и сделал широкий шаг в сторону, а потом дальше они пошли уже вместе. На сей раз это было уже совер-

шенно очевидно и длилось, быть может, одну минуту. Одна минута – это долго. Он увидел, как собственное пальто развевается у его ног на ветру, и линию заостренного профиля из-под шляпы, профиля господина, для которого ничто не имеет значения, господина, что вышел из дома и прогуливается, потому как не желает идти домой. Его интерес граничил с презрением, и ему было любопытно: испытывал ли страх, а также презрение тот другой, что шел рядом с ним. Он почувствовал, что ему стало тепло, им владело какое-то странное нетерпение. Усталость исчезла, и он видел лишь мокрый асфальт; он продолжал машинально идти, его сердце билось быстро и сурово. Никто никогда прежде не смотрел на него так прямо и заинтересованно. Он зашел в парк и сел на скамью так, как обычно делают в ожидании кого-то; сердце его все еще стучало, и он не осмеливался оторвать взгляд от земли. Ничего не случилось, он ждал долго, и ничего не случилось. Он не пытался понять, он только ждал. Когда дождь усилился, он разочарованно поднялся и отправился домой. Еще не вечер, однако же он тотчас в величайшей усталости заснул и крепко проспал до следующего утра.

Он проснулся в каком-то необычном настроении, которое не признал как ожидание. С величайшей тщательностью оделся, побрился и привел комнату в порядок. Ему почудилось, что он как будто прислушивался к дверному колокольчику или телефонному звонку, и он отключил их оба. Сего-

дня он не работал. Он изо всех сил так тихо и так медленно двигался взад-вперед по комнате и, шагая, приводил в порядок те мелкие безделушки, что выставлены для того, чтобы всегда были под рукой и радовали глаз. Он переставлял их, возвращал обратно и непрерывно прислушивался, вынул из шкафа два красивых стакана и убрал их снова. День прошел.

Это случилось только в сумерках, когда он смотрел в окно. Они снова стояли рядом, совершенно молча, дабы не нарушить равновесие в этом странном смещении, путанице или каком-то ином состоянии – как еще можно назвать то, что произошло с ним?.. Он опять испытывал мучительное презрение, но в то же время сочувствие к тому, что его посетило, на душе у него потеплело. Человек он был сильный. Через несколько минут он снова остался один, но в те минуты он был очень счастлив.

Он был один и весь этот день, и всю эту неделю. Он приготовился к новой встрече, но ничего не произошло, он был словно одержим разочарованием, да и бесконечным ожиданием тоже, и не думал ни о чем другом, кроме как отойти в сторону, отстраниться. Он взывал к этому в своих мыслях – отойти в сторону... Он возвращался в те места, где они были вместе, и подолгу ждал. Он пытался вспомнить книги, где говорилось о двойниках и раздвоении личности, но уже не помнил имен персонажей и не подумал справиться об этом в книжной лавке или в библиотеке. Встреча, которую он готовил, была невероятно личной, тайной. Ее нельзя было уско-

ритель и нельзя объяснить; единственное, что он мог сделать, — это абсолютно трезво и отстраненно воспринимать самого себя. Он был полностью уверен, что он — получатель, от него не исходило ничего, кроме ожидания. И он ждал.

В конце концов ему удалось словно бы выступить из самого себя, не испытав даже презрения к тому, кого оставил, они стояли бок о бок, как прежде, и выглядывали в окно. Он позволил любопытству и изумлению окутывать себя, словно теплой волне, что горела у него в руках, у него были уже совсем новые руки. Затем они оба скользнули назад друг в друга; это произошло в состоянии усталого сопротивления и оставило за собой ощущение разочарования, слабого и горького.

Он был один в комнате, он подбежал к двери, а потом назад к окну, он был вне себя от чувства всепокинутасти, брошенности. Стиснув зубы, он раз за разом думал: «Он больше не смотрит на меня, почему он не смотрит на меня?» Он вспомнил рассказ о двойнике, который убил самого себя. Он не мог работать.

Дождь прекратился, день был прохладным и ясным. Он отправился на чердак за сапогами и теплым пальто и, выйдя из дома, сел в автобус и поехал туда, где кончался город. Много дней бродил он вокруг по окрестностям, где застройка становилась реже и носила следы уродства и произвола. Каждое утро он возвращался туда, он непрерывно ходил, отдыхая иной раз на скамье, в каком-нибудь кафе у же-

лезнодорожного переезда или фабрики. Безличное и неопределенное окружение было, возможно, подготовкой ко встрече с другим... быть может, неким призывом. Весна, столь же неопрятная и меланхоличная, приближалась так же неспешно.

Он не знал, какие чувства он испытывал к тому, кого ждал, кому уделил место в своей душе и кому открылся; иногда тот был врагом, а иногда – другом. В кафе ему случалось заказать две чашки кофе; то было также призывом. Иногда кто-то пытался с ним заговорить, чаще здесь, в этих краях, нежели в городе. Тогда он тут же поднимался и уходил.

На этих необжитых, застроенных наполовину и брошенных выселках ему казалось, будто он видит гигантские отбросы города, ту волну грязной пены, что пробивается сквозь доски и остается там. Также выплескивались буквы, слова, они были во всех объявлениях, афишах, плакатах, на каждом дощатом заборе, а стены и деревья несли на себе черные слова, что преследовали его, но он их не читал. Мел, и нож, и смола выписывали слова, взывавшие к нему и гнавшие его все дальше в толкотню улиц, меж заборами, и стенами, и деревьями, что все носили след написанных слов, и где, проходя сквозь строй, он мог получить удар палкой по спине<sup>6</sup>. Он ходил кругами, не имея возможности остаться в стороне и в пустоте, нигде не обретая равновесия. Он начал

---

<sup>6</sup> Имеется в виду наказание, применяемое в старое время, когда осужденного прогоняли сквозь строй, подвергая его ударам палок по спине.



думать о себе в третьем лице: «он». Он бродит здесь в ожидании, он ждет, что я приду; блуждая среди этих кошмарных слов и бескрайних полей, окаймленных деревянными домишками и свалками, он быстро проходит мимо встречаемых и только и ждет, что я увижу его и позабочусь о нем. Длинные ряды картин все снова и снова мелькают мимо него, бараки, и дороги, и перекрестки, и все они, непрерывно и скорбно повторяясь, будто потерянное время, схожи друг с другом.

Последний снег растаял. Однажды он пересекал редкую березовую рощу где-то среди больших дорог. И тут наконец его осенило! В приступе бурного счастья он стоял, готовый идти дальше; ныне жили не только его руки, но и голова, живот, все... Его тело целиком горело от огромной нерастратченной силы. За рощей, у большой дороги, он увидел большие черные буквы, он хотел прочесть и понять их, он начал идти... именно тогда и я начал идти. Я хотел пойти дальше, я начал шагать все быстрее и быстрее, я не знал, что можно испытывать такие чувства. Я был вне себя от радости и нетерпения и знал, что времени мало, слишком многое надо было сделать. Один-единственный раз я оглянулся назад, и там бежал он, спотыкаясь на мокрой земле, сутулый и с разинутым ртом, словно крича мне, чтоб я подождал. У меня времени на него не было, потому как он был один, но я смотрел на него. Я не протянул руку, этого я сделать не мог, но он бросился навстречу моей руке и схватил ее, и прежде, чем

меня успело охватить презрение к нему, было уже слишком поздно, мы были уже одним человеком, одним-единственным, стоявшим под березами в ожидании.

*Перевод Л. Брауде*

# По весне

По утрам, еще до рассвета, снегоочистители лихо объезжают квартал; широко и глухо скребя, прокладывают они дорожки на тротуарах. И ничто не делает отдых и тепло столь глубоким, как то, когда прислушиваешься к звукам уборки снега и, уже проснувшись, переворачиваешься на другой бок и снова засыпаешь. Иногда я лежу поперек на моей широкой кровати, иногда наискосок, мне нравится, когда вокруг много места.

Все больше и больше снега сбрасывается во мраке и непременно убирается прочь, а днем с моря пробирается туман, и снежные туманы стояли у нас нынче долгое время, и приходилось бродить в полумраке.

Ночью была гроза, возможно, то была гроза – несколько сильных толчков, не далеких ударов грома, а скорее сотрясений, случившихся прямо в нашем доме. Утром небо казалось совершенно прозрачным и было преисполнено переливающегося через край света, а позднее, днем, снег начал таять. Тяжелые мокрые груды снега падали с крыши вниз, а там шел непрерывный процесс сдвига и преобразования; капли, барабанившие по листовому железу, и текущая вода, и все время этот призывный побуждающий сильный свет. Я вышла на улицу. Звук низвергающейся воды был почти страшен, вода журчала и струилась по тротуару, и все время слы-

шались шлепки падающего снега.

При этой обнаженности света все следы зимы виднеются не только на лицах, всё вокруг становится отчетливым и, пронизанное светом, выворачивается наизнанку. Все выходят из своих нор. Возможно, они пережили зиму в страхе или, быть может, в одиночестве, по желанию либо по принуждению, но теперь они выходят и пытаются обрести себя на берегу, у воды, так они поступают всегда.

Легче пройти мимо друг друга под покровом холода и мрака, мы же остановились и говорили о том, что настала весна. Я сказала:

– Посмотри когда-нибудь ввысь! – Но я вовсе не это имела в виду...

А он спросил:

– Как поживаешь? – И ничего особого не имел в виду.

Так я полагала.

Мы не могли избавиться друг от друга, так как шли одним и тем же путем – вниз, за угол, а там, по крайней мере, никаких переулков не было. Как течет и капает повсюду, а солнце светит и слепит глаза, все повторяется снова, подумать только, на что способна природа!.. Ведь абсолютно невероятно то, что всегда находится еще одна возможность... и я спросила:

– Есть у тебя кто-нибудь или ты один?

– Нет, у меня никого нет, – совершенно обыденно ответил он.

А я добавила: мол, это жаль, вот так по весне. Итак, мы обменялись сообщением, которое имело известный смысл, даже если было очень кратким, и расстались не без чувства собственного достоинства. Я пошла дальше, наискосок через площадь и наблюдая, как все струится и стекает; вода в водосточных канавах была почти чистая, а под причалами солнце буравило лед, что сгорал дотла, распадаясь на тонкие и острые как иглы пласты. Я слыхала, что именно грозовая погода заставляет лед вскрываться. Ему, кого я встретила, можно было позвонить по телефону. Он мог сопровождать меня вниз к берегу, но, возможно, все-таки и не мог. Большие лужи были свободны от воды возле клоак, туда стекался весь мусор: ботва с полей, листья и прочие отходы, вся городская грязь и сор, что пузырились и сверкали в солнечном свете. Преисполненные надежд, они, качаясь на вольных волнах, плыли к берегу, но, быть может, что-то мало-помалу гнало их туда, а огромные волны разделяли их и помогали им, все возможно.

Я шла вдоль берега, окаймлявшего город, в котором жила, пока не оказалась у самого дальнего мыса. И там были они все, люди зимы, что казались черными в этот чудовищно ослепляющий весенний день. По одному, по двое, либо каждый сам по себе сидели они на ступеньках, ведущих в гору, с поднятыми вверх лицами, застывшие и торжественные, словно птицы. Быть может, все-таки ему должно было пойти со мной. Они стояли на причалах, только и делали, что сто-

или совершенно молча, каждый погруженный в самого себя. Лед был совсем темный, он казался мягким и податливым, а весь ландшафт покоился словно на пороге или, быть может, на волне, готовый двинуться, решиться на что-то, – примерно так думала я, думала быстро и неясно. Затем я собралась позвонить ему завтра, сегодня.

Ночью я услышала: снова работают снегоочистители. Утро было пасмурным и очень холодным. Я не позвонила; что, собственно говоря, я могла бы сказать? Снова пошел снег, окутывал комнату, наполнял приятным полумраком; сугробы всё росли и росли, снег заглушил все звуки, кроме скрежета снегоочистителей внизу, на улице... Вот так обстоят дела с этой долгой весной здесь, в нашей стране.

*Перевод Л. Брауде*

# Тихая комната

Позже они поднялись наверх в квартиру, полиция уже побывала там, но сам он оставался еще в больнице. Он жил на третьем этаже, и табличка с его именем была такой же, как у соседей, а на двери красовался точно такой же рождественский венок, зеленый брусничник из пластика. Никакой почты на коврике в прихожей не было. Они вошли в большую общую комнату<sup>7</sup>, озаренную лучами южного солнца, с ковром, покрывающим целиком весь пол, и современными модными обоями, а вот мебель была получена по наследству. Все было очень опрятно и красиво, в том числе и ванная. У него был холодильник и стиральная машина на кухне, а шкафы сияли чистотой.

– Ты можешь понять? – сказала она. – Я вообще не понимаю, почему он сделал это. И кроме того, он же старый! Они ведь не делают этого в таком возрасте.

Она была крупная, в красивом наряде для прогулок, который сама и сшила. Ее брат пожал плечами и подошел к окну. Вид из окна был приятный, угол парка, а дальше в стороне открытый школьный двор. Комната очень тихая. «Тишина такого же рода, как и у меня дома, – подумала я. – Словно бы нетронутая».

Он подошел к шкафу, достал оттуда халат и положил его

---

<sup>7</sup> *Общая комната* – особая комната в шведских домах (помимо гостиной).

в сумку, которую принес с собой.

– «Домашние туфли, – прочитала в списке его сестра. – Туалетные принадлежности и пижама». Да, ведь он перешел потом в отдельную палату, и еще они сказали: он хочет, чтоб ему принесли его очки.

Глубоко в шкафу стоял большой ящик, полный каких-то картонок, и кожаных рулонов, и необычных инструментов.

– Что ты делаешь? – спросила она. – Что это?

– Думаю, это инструменты для того, чтобы переплестать книги. Они все новые, на них еще сохранились ценники.

Он поискал туфли под диваном, но там было лишь несколько плоских коробок и желтый деревянный ящик. Строительные детали для модели корабля «Катти Сарк». Каравелла. Он вытащил ящик.

– Что ты делаешь? – переспросила она. – Ты не нашел туфли?

Он откинул крючок: то был ларец с полным комплектом для столярных работ.

– Они тоже новые, – сказал он. – Он никогда не пользовался ими.

– Похоже на это, – ответила она. – Но мне нужно еще купить домой еду, прежде чем закроют магазин. И я не думаю, что нам стоит рыться в его коробках и ящиках больше, чем это необходимо.

Она пошла за туалетными принадлежностями и обнаружила очки на ночном столике; все было в таком же порядке и



лежало на своем месте, верхнее и нижнее белье – ровными, аккуратно сложенными стопками. Она направилась обратно в общую комнату; ее брат открыл ящик письменного стола.

– А что ты ищешь тут? – спросила она.

– Я ничего не ищу, – ответил он. – Я только смотрю. – Ему хотелось сказать: «Я ищу его. Я пытаюсь понять...»

Но брат и сестра никогда друг с другом так не говорили.

Несколько конвертов, на одном написано: «Квитанции», на другом: «Страховка от пожара». Бланки. Рецепты.

– Здесь не так уж много, чтоб стоило на это смотреть, – спокойно сказала она. Она положила остальные вещи в сумку и закрыла ее. – Ну, думаю, кажется, все. Теперь мне пора идти заняться обедом.

– Ну иди! – ответил он. – Я оставлю сумку в больнице. Нам все равно не по пути.

Она посмотрела на него, и он объяснил:

– Я чуточку устал. Я посижу теперь тут немного и полистаю какую-нибудь книжицу.

– Ты всегда усталый, – ответила сестра, – тебе надо пойти обследоваться. Ведь моложе точно не становишься. Тогда привет, и не забудь оставить ключи у дворника.

Теперь в комнате было снова так же тихо, стояла мягкая, глубокая тишина, сонная тишина. Возможно, то было из-за всех этих ковров, и драпировок, и мягкой мебели, ну и книг. Зачем ты просишь принести очки, если не хочешь, чтобы принесли книги? Но, быть может, эти очки для дали?

Он читал, лежа на спине. Книги по астрономии и подарочные издания. Унаследованные книги. Знаменитые книги. Он достал одну из них и увидел, что она не разрезана. Он доставал одну книгу за другой, почти все даже ни разу не открывались. За ними у стены стоял еще ряд книг, и книг совсем другого рода. Выращивание орхидей. Как сделать альпийскую горку в саду. Как построить корабль в бутылке. Книги по книжному делу, по столярному ремеслу, что требует тонкой, кропотливой работы, по графологии, по космосу. Они были спрятаны, потому что никто их никогда не читал.

Он поставил книги обратно; в комнате было слишком жарко. Солнце палило прямо в окно, и ни единая пылинка не шевелилась на световой дорожке над ковром. Он почувствовал ужасную усталость и подумал, что, пожалуй, было бы не так уж глупо пройти на всякий случай основательный осмотр и сделать выводы. Он сел на диван. Стало быть, оставалось еще четыре года, возможно, пять или шесть. Выращивание орхидей казалось делом долгим. Но деревья... деревья можно посадить. То есть в таком случае надо иметь землю, можно купить небольшой участок. Стремление владеть землей! Прививать растения – ведь это значит облагораживать фрукты или цветы, экспериментировать, вникать в суть дела. «Тоскую ли я по земле? – подумал он. – Я не знаю, о чем я тоскую».

В комнате было слишком жарко. Он попытался открыть окно, но не понял, как оно устроено, и отказался от этой мыс-

ли.

Если теперь достать книгу о деревьях и попытаться получить удовольствие... или что-то... Ведь на свете так много всего. Но, возможно, лучше всего деревья. И возможно, нужно было бы знать кое-что и по химии – о составе земли и о времени, когда приходит пора посева.

Чрезвычайно взволнованный, он ходил кругами по комнате, так, как обычно ходят по комнате, вперед к окну, вокруг стола... потом постоял на пороге спальни и снова пошел назад и остановился посреди ковра, там, где лежали отблески солнечного света, а затем направился обратно к окну. В конце концов он вызвал такси, взял сумку и по пути вниз занес ключи дворнику. «Мне интересно, как он выглядит, – подумал он уже в машине. – Мне не жаль его, мне не по душе жалеть его и трудно будет говорить с ним. Но я хочу поехать туда».

Во дворе больницы росло высокое дерево, неясно, был ли это клен или ясень, а может, вяз. С чувством внезапного облегчения он подумал, что, собственно говоря, это одно и то же. Если его хоть что-то вообще интересовало, то пусть бы это было фруктовое дерево...

*Перевод Л. Брауде*

# Буря

Ее разбудило дребезжание форточки в окне, и она тихо лежала, прислушиваясь и наблюдая, как буря меняла светящиеся узоры на потолке. Тень от водопроводной трубы повисла крестом над ее изголовьем, но по потолку снова и снова бегали все новые и новые отражения раскачивающихся уличных фонарей, а порой то был свет автомобильных фар, редких в это время ночи. Слуховое окно было уже несколько недель покрыто снегом, и уже несколько недель он не звонил. Это означало, что он никогда больше не позвонит. Но тут дверь в умывальную начала стучать, и она встала, чтобы закрыть ее. Не зажигая света, она направилась в комнату, выходящую окнами на улицу.

Ветер налетал толчками и, шипя, жесткими ударами надувал снег за стеклом, однако снегопада не было.

Над бурей и где-то далеко в стороне раздался прерывистый и тяжелый барабаниющий звук – она так и не поняла, что это, – иногда звук исчезал и снова возвращался... Быть может, тот звук издавали кровельные листы, шифер, быть может, что-то другое. Ночь была исполнена беспокойства и перемен; она прислушивалась и ждала в своей комнате; все было погружено в темный и зеленый свет, какой со всех сторон охватывает ныряльщика или водолаза в море. Она видела, как нанесенные ветром горки снега на крыше дома, кружа,

взметались ввысь, будто дым, а снег и небо над городом светились одним и тем же темным светом. «Словно в стороне от всего, — подумала она, — что-то происходит, об этом весь день говорили по радио. Пускай происходит. Я так устала от своей усталости и вечного ожидания, а больше всего из-за того, что устала от самой себя».

В больнице из тех окон, что всегда светились в четыре часа по утрам, горел свет лишь в двух. Рождественские лампочки на елях возле бензоколонки были зажжены, а ели встряхивали ветвями, словно испугавшись и пытаясь вырваться... Она долго разглядывала их, и, когда они наконец упали, почти одновременно, и ветер, метя, поволок их по улице, где гасли фонари, она громко вскрикнула от облегчения. В комнате было холодно, буря не унималась, ветер толчками задувал прямо в окна. Летая над городом, ветер давил его одним-единственным слитым воедино грохотом; то было всевозрастающее и неотвратимое множество звуков. «Сила, — думала она, — как я люблю силу!» Атака была столь яростной, что она отступила от окна. Такова ночь в бурю! Что такое ночь... спать до следующего дня, попытаться отоспать свою усталость, чтобы быть в силах справиться с тем, что не желаешь больше продолжать, укрыться в объятиях осторожной маленькой смерти, которой ты не противишься на столько-то и столько-то много часов, а если просыпаешься — то лишь на считанные секунды. Она ходила взад-вперед от окна к окну и думала: «Позвони, позвони мне и спроси, не

страшно ли мне!» Она видела, как шторм взметает спиральями снежные сугробы на улице и прижимает снег к стенам домов, будто белые оберегающие руки; зеленый свет потемнел. А сны... что они такое? Они выводят наружу твой страх и являют его с преувеличенной жестокостью, сон – это вовсе никакой не отдых, никакое это не утешение.

Что-то огромное пролетело мимо ее окна, ударившись о стену и разбив стекла на мелкие осколки, – осколки, тут же унесенные прочь; все равно, что это было, все равно, куда унеслось. Ветер был словно громкий стон, он кричал и выл. Над городом горели неоновые огни, словно слабые цветные отсветы, стертые резинкой, но снег поднимался с земли ввысь повсюду и со всех улиц, как гигантский театральный занавес, и вот уже было не различить, горят ли где-либо окна, и ничего не оставалось, кроме как прислушиваться и ожидать. «Вот так, – думала она, – так бывает иногда, когда все рушится и трещит по швам, и нечего вспомнить, и не к чему прислониться, и тебе должно с самого начала подумать, успеешь ли ты хоть что-нибудь... Безразлично – ощущаешь ты силу или слабость, и ничто уже не может удивить... Все лишь будто стерто резинкой или погашено».

Город был пуст – ни людей, ни автомобилей. Похолодало. Ее окно превратилось в кружащуюся зеленую стену из снега, она отступила назад, отступила медленно вглубь комнаты. Шторм был за пределом приемлемого и мыслимого. Только сильная и безостановочная вибрация. Эта вибрация ощуща-

лась повсюду, в оконных рамах и в стенах, защищавших ее, в воздухе вокруг нее, у нее в зубах и в животе.

Она пошла назад, вплотную к стене. «Как раз теперь, – думала она, – как раз теперь я понимаю, что все – абсолютно просто. Я знаю, чего хочу». Вот так стоят они в своих комнатах ночью все вместе и не смеют подойти близко к окнам, они не смеют пойти и лечь спать. Они вдруг понимают, что это не просто вопрос жизни или выдержки, а нечто совсем другое, и они не знают, что это.

Как может буря тропической силы отыскать путь в заснеженную страну, в надежную грустную страну, где зажигают свечи на елке, чтобы умиловить мрак? Оконные стекла в благоустроенных каменных домах треснули и разбились за несколько кратких часов от подобного испытания, а металлическую крышу унесло на много кварталов отсюда, и та оказалась близ гавани. Буря влетела в широко открытую комнату, как вспышка ледяного воздуха, более плотного, чем материя, и, придавив ее глаза и барабанные перепонки, отбросила ее к стене, а вокруг, словно стрекоза взмахивала крыльями, распадалась на части комната. Ничего не имело значения и ничего не имело названия, которое можно было бы произнести и ощутить вновь. Она поползла на четвереньках в свою спальню, и единственным, что имело значение, была кровать, кровать, плотно прижатая к стене под водопроводной трубой, и возможность укрыться там. Она ощутила под руками порог комнаты, пол был завален осколками, об-

ломками и снегом, и, когда буря поволокла ее, она упала навзничь и подумала, что вот-вот лопнет от ветра, не оказав ему ни малейшего сопротивления. Она поползла дальше, она приблизилась к кровати и нырнула под одеяло, натянув его на себя и прижавшись поджатыми коленями к стене. Теперь она снова услышала грохот бури и почувствовала: она замерзла, и знала: ее постигло что-то важное, нечто, казавшееся значительным и простым.

Звонок! Звонили долго, прежде чем она поняла: это телефон, – и подняла в темноте трубку.

– Это я, – сказала она. – Нет, я не сплю.

Она внимательно слушала и, пока слушала, смотрела вверх на потолок, что был не дальше обычного. Створки окна образовали нечеткий геометрический узор на черном фоне. Она лежала под решеткой оборванных потолочных балок, а над ними высилось темное небо, что все поднималось и поднималось в непрерывных вихрях снега.

– Не объясняй! – сказала она. – Не повторяй все снова и снова одно и то же, это не важно.

Она выпрямилась в кровати, медленно и надменно сознавая свое превосходство, и, вытянув ноги, подумала: «Вовсе не трудно быть сильной».

– Это не важно, – повторила она. – Если ты что-то узнал и снова утратил, это ровно ничего не значит, это не важно. Ты найдешь это утром.

Подложив руку под голову, она повернулась на бок, легкое



тепло подступило ближе.

– Да! – произнесла она. – Конечно же, я боюсь. Сделай это, позвони завтра.

Они пожелали друг другу спокойной ночи, она положила трубку и заснула.

Около семи часов утра ветер стих, а снег падал вниз над городом, навстречу улицам и крышам домов, и над ее спальней, что была совершенно бела и очень красива, когда она проснулась.

*Перевод Л. Брауде*

# Серый шелк

Марта приехала из селения в Эстерботтене, и была она ясновидящая. Не только потому, что ее посещали вещие сны, она обладала также редчайшей способностью чувствовать, что где-то поблизости витает смерть, и определять, кому она грозит. Она охотно сохранила бы свои видения при себе, но чей-то безжалостный голос приказывал ей возвещать о том, что должно случиться.

Поэтому вскоре она осталась в полном одиночестве и в конце концов уехала в город и стала зарабатывать себе на хлеб вышиванием. Все устроилось на удивление легко. Марта пошла в самый большой салон мод, показала несколько своих работ и была тотчас же принята на службу. Вначале речь велась о том, чтобы вышивать нижнее и постельное белье, а позднее – вечерние платья. Вскоре ей разрешили самой составлять узоры и выбирать цвета, а потом она переместилась уже за стеклянную стену, где стоял ее личный стол.

Марта почти никогда не разговаривала. Здороваясь, она не улыбалась; это может показаться мелочью, но на самом деле внушает ужас. Ведь к обоюдным улыбкам, которыми обмениваются при встречах, привыкают. Это так естественно – улыбаться, независимо от того, нравится ли тебе тот, кому улыбаешься, или нет. Кроме того, она не смотрела людям в глаза, а устремляла взгляд в пол, где-то поблизости от их ног.

Молчаливость и серьезность Марты, ее неоспоримая талантливость и чувство цвета, а также отделявшая ее от всех стеклянная стена погружали ее в свой, совершенно своеобразный мир. Те, кто оставался за этой стеной, боялись ее, непонятную и угрюмую; но и они не могли обнаружить в этой высокой темноволосой женщине со сросшимися бровями даже следа чувства собственного превосходства или недоброжелательности. Когда Марта приходила по утрам в ателье, она снимала плащ, косынку (она и в самом деле покрывала голову косынкой) и тихо здоровалась. Стоило ей войти, и сразу же наступала тишина. Все видели, как она длинными медленными шагами идет к своей стеклянной клетке — она двигалась, словно длинноногое животное. Когда она закрывала за собой стеклянную дверь, они переводили взгляд на мятую черную косынку и плащ из скверной ткани, висевшие на вешалке, словно забытые кем-то вещи. Ее одежда никому не казалась ни нелепой, ни трогательной, она производила почти угрожающее впечатление.

Сидя за стеклянной стеной, Марта вообще ни о чем не думала. Ей нравилось вышивать. А Мадам очень нравились и ее узоры, и сочетания цветов. Марта обычно делала эскиз пастелью, потом входила в конторку и клала на стол еще едва обозначенный беглый набросок. Мадам одобряла эскиз, и Марта возвращалась обратно, даже не захватив с собой листок бумаги. Узоры и цвета менялись во время работы, совершенно произвольно. Эскиз был всего-навсего данью

обычным предписаниям, и ничем иным; они обе это хорошо понимали.

В то время Марте не снились никакие сны, потому что она не знала окружавших ее людей и ей не было до них дела. Спокойные ночи приносили ей такой великий отдых и такое облегчение, они дарили ей такую радость. Ей не нужны были даже ее дни; она уединялась и только и делала, что вышивала. Она вытягивала свои длинные сильные ноги и, откинувшись на спинку стула, вышивала, зорко следя своими острыми и пронизательными глазами за собственной работой. Рука ее спокойно водила иглой, а иногда прекрасная ткань, лежавшая у нее на коленях, потрескивала. Был разгар сезона, непрестанно приходили и уходили дамы, но она их не замечала. И ничего бы не случилось, если бы не шелковое платье, вышитое жемчугом. Вещь была вполне заурядная, ярко-розового цвета, обыкновенный заказ, который Марта спасла, украсив вышивкой, выполненной серым шелком. Но дама осталась недовольна и захотела поговорить с вышивальщицей. Марта заявила, что не хочет беседовать с заказчицей. Мадам сказала:

– Милая Марта, заказ этот очень важный, мы не можем передать его кому-либо другому, он слишком дорогой.

– Это платье принесет несчастье, – сказала Марта. – Я не хочу.

Но в конце концов она все-таки вышла.

Худая, нервная дама что-то быстро говорила, и возражая

и объясняя одновременно. У нее было обиженное лицо, и она была совершенно вне себя из-за вышивки серым шелком. Марта смотрела на нее, зная, что эта женщина очень скоро умрет, хотя сама об этом не подозревает. В то же время внутренний голос приказывал ей сказать о том, что она увидела. Марта почувствовала, что заболевает; она широко шагнула, отворив двери. Втроем они стояли в очень маленькой примерочной, было жарко, женщина повернулась и, взявшись за ручку двери, воскликнула:

– Я хочу объясниться. В таком виде носить это платье я не смогу!

– Вам не придется носить это платье, – ответила Марта.

Губы ее так одеревенели, что ей трудно было говорить, но она добавила:

– Это платье вам не понадобится, потому что вы очень скоро умрете.

Выйдя из примерочной, Марта вошла в свою стеклянную клетку. Взяв мелки, она нарисовала новый неожиданный узор: очень яркие, броские цвета – горчично-желтые и желто-зеленые, лиловые и ярко-синие, оранжевые и белые. Наглые, беззастенчивые цвета, что сначала словно бы громко кричали, однако потом спокойно прильнули друг к другу и только светились и сияли. Вскоре она уже забыла испуганную женщину, которой предстояло умереть.

Вошла Мадам, села и только и сказала:

– Какая вас муха укусила? Почему, ради бога, вы сказали

ей такое?

– Мне очень жаль, – тихо ответила Марта. – Я увидела, что она скоро умрет, и не могла не сказать ей об этом. Возможно, я не должна была так поступать.

Мадам бросила взгляд на цветной эскиз; поднявшись через некоторое время, она устало сказала:

– Чтобы это больше не повторялось!

– Нет. Больше никогда, – ответила Марта.

Назавтра, когда женщина умерла – а погибла она в автомобильной катастрофе, – Марта прошла в свою стеклянную клетку, и никто даже не посмел сказать ей: «Доброе утро!» Она работала до самого обеда и передала уже готовый эскиз с курьершей, а потом получила его обратно одобренным. Она начала вышивать белое вечернее платье и оставалась в ателье до тех пор, пока все не ушли домой. Тогда она надела плащ, косынку и направилась в город. Она не спешила домой, в свою комнату, а очень медленно бродила по улицам, наблюдая за всеми, кого встречала. Она осмелилась разглядывать всех и каждого и увидела, что среди них много таких, кому суждено было очень скоро умереть. Внутренний голос непрерывно взывал к ней, но люди быстро проходили мимо, они торопились, и много-много было среди них таких, кому суждено было очень скоро умереть. Их было слишком много, и голос взывал к ней все слабее и слабее. Она продолжала идти, глядя на всех тех, кто встречался ей на пути, проходил

мимо и исчезал час за часом. Под конец стало совсем тихо, а все вокруг стали похожи друг на друга.

Марта пошла домой, она очень устала. Она взяла мелки, чтобы нарисовать новый придуманный ею узор, показавшийся ей красивым, но внезапно твердо поняла, что не знает, какие ей выбрать мелки и почему вообще цвета должны сочетаться друг с другом.

*Перевод Л. Брауде*

# Проект предисловия

Она сняла накидку, свернула ее и положила на стул, зажала ночник и погасила верхний свет. Затем открыла внутреннюю раму и достала бутылку воды «Виши», снова закрыла окно и, заткнув бутылку резиновой пробкой, поставила ее на ночной столик рядом с двумя таблетками снотворного, очками и тремя книгами. Потом задернула занавески и разделась, начиная снизу: положила одежду на стул и надела ночную рубашку и домашние туфли. Она почистила зубы над кухонной раковиной, вытащила часы и, увидев, что уже одиннадцать, положила часы на ночной столик, включила радио и выключила его снова, посидела десять минут на кровати, сняла туфли и легла в постель. Надев очки, она начала читать первую главу в той книге, что лежала сверху. Одолев четыре страницы, она взяла вторую книгу и некоторое время читала ее с середины, затем, отложив в сторону, открыла третью. Иногда она перечитывала одну фразу множество раз, а иногда перескакивала через одну или пару страниц. Было очень тихо, лишь время от времени раздавался слабый шум в батарее центрального отопления. В половине первого ночи глаза ее устали и сон подступил ближе, начиная с ног. Она быстро сняла очки, положила их на ночной столик, погасила ночник и повернулась лицом к стене. Она тут же, впервые в эту ночь, начала перебирать все, что она



говорила и что оставила недосказанным, и все, что сделала, и все, что не сделала. Она снова зажгла ночник и взяла одну из таблеток, открыла бутылку и проглотила таблетку, запив ее минеральной водой, потом погасила ночник и села лицом к стене. Через полчаса она снова зажгла свет, надела очки, открыла книгу и дочитала главу до конца. Положив книгу и очки на пол, она погасила лампу и натянула одеяло на голову. Через двадцать минут она вновь зажгла свет и встала, открыла внутреннюю раму, вытащила пакет, завернутый в плотную бумагу, и развернула его. В пакете были хлеб, колбаса и сыр. Она поела, стоя у окна. Снег лежал довольно высоко на рамах, и на улице шел снег. Поев, она проглотила вторую таблетку и запила ее водой «Виши», но не закрыла внутреннюю раму, поскольку в комнате было очень жарко. Она легла и погасила лампу. Через час она снова зажгла ее, сняла ночную рубашку и начала ходить по комнате. Она подошла к кухонной раковине, набрала воды в эмалированную кружку и полила свои комнатные цветы, затем, взяв губку и вытерев воду, что вытекла на подоконник, оставила губку на окне. Она легла и погасила свет. Примерно часом позже она встала, не зажигая света, включила радио и выключила его. Она услышала, как поднимается вверх лифт, и тут же через дверную щелку в прихожей упала на пол газета. Она зажгла лампу и открыла верхний ящик комода, вытащила писчую бумагу и ручку и села на кровати. Через десять минут она положила бумагу и ручку на пол, подошла к окну и увидела,

что снегопад прекратился. Она погасила свет и легла в постель. Лифт снова поднялся, но батареи больше не шумели. Сон напал на нее, и тело ее отяжелело, она просто рухнула и, перестав думать, уснула. Полчаса спустя она зажгла ночник и посмотрела на часы. Поднявшись, она подошла к кухонной раковине и почистила зубы, затем оделась, начиная сверху, и поставила кипятить чай, потом посмотрела на часы и заметила, что ошиблась во времени, поскольку не надевала очки. Выключив чайник, она наполнила водой эмалированную кружку в кухонной раковине и вспомнила, что цветы уже поливала. За окном было темно, она надела плащ, и шапку, и перчатки, взяла свою сумку и сунула ключи в карман. После этого она отворила дверь прихожей, вышла и тихонько закрыла ее за собой, затем спустилась по лестнице, проскользнула через парадную дверь и увидела, что начался снегопад. Она обошла кругом квартал, а приблизившись к парадной, снова отправилась дальше вокруг квартала, потом вошла в дом, поднялась по лестнице наверх так, что все можно было снова начать с самого начала.

*Перевод Л. Брауде*

# Волк

Молчание слишком затянулось. Она собралась с духом, чтобы что-нибудь сказать или проявить вежливый интерес, который помог бы им скрасить несколько предстоящих минут. Повернувшись к своим гостям, она спросила, пишет ли господин Симомура также и для детей.

Переводчик серьезно прислушался, затем легко поклонился, а господин Симомура повторил его поклон. Они тихо говорили между собой, быстро и почти шепотом, еле заметно шевеля губами. Она смотрела на их руки, чрезвычайно маленькие, с тонкими светло-коричневыми пальцами, на их маленькие красивые лапки и ощущала себя огромной лошадью.

– Сожалею, – ответил переводчик. – Господин Симомура не писатель. Он совсем не пишет. Нет-нет!

Он растянул губы в улыбке, они оба улыбнулись, мягко и соболезнующе склонив голову и неотрывно разглядывая ее; глаза Симомуры были абсолютно черными.

– Господин Симомура рисует, – добавил переводчик. – Господин Симомура хотел бы видеть диких зверей, очень опасных, if you please<sup>8</sup>.

– Понимаю, – ответила она. – Рисунки животных для детей. Но у нас диких животных не много. И они только на се-

---

<sup>8</sup> Если угодно (*англ.*).

вере.

Переводчик, улыбаясь, кивал головой. «Yes, yes, – повторял он. – Очень любезно... Господин Симомура рад!»

– У нас есть медведи, – неуверенно сказала она, вдруг забыв, как будет по-английски «волк». – Похожи на собак, – продолжала она. – Большие и серые. На севере.

Внимательно глядя на нее, они ждали. Она попыталась завыть, словно волк. Ее гости вежливо улыбнулись и продолжали разглядывать ее.

Она угрюмо повторяла:

– Никаких животных на юге нет, есть только на севере.

– Yes, yes, – отвечал переводчик.

Они снова зашептались, и внезапно она добавила:

– Змеи. У нас есть змеи.

Она устала. Повысив голос, она еще раз сказала:

– Змеи. – И, волнообразно проведя рукой в воздухе, будто кто-то ползет, зашипела.

Господин Симомура больше не улыбался, он беззвучно смеялся, откинув назад голову.

– Анаконда, – сказал он. – Змея. Very good<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Очень хорошо (англ.).

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.